

**МИХ. РОЗАНОВ**

# **СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ**

**1922 — 1939 годы**

**ФАКТЫ — ДОМЫСЛЫ — «ПАРАШИ»**

**ОБЗОР ВОСПОМИНАНИЙ СОЛОВЧАН СОЛОВЧАНАМИ**

**В ДВУХ КНИГАХ**

**Части 4, 5, 6, 7 и 8**

**КНИГА ВТОРАЯ**

**МИХ. РОЗАНОВ**

# **СОЛОВЕЦКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ В МОНАСТЫРЕ**

**1922 — 1939 годы**

**ФАКТЫ — ДОМЫСЛЫ — «ПАРАШИ»**

**ОБЗОР ВОСПОМИНАНИЙ СОЛОВЧАН СОЛОВЧАНАМИ**

**В ДВУХ КНИГАХ**

**Части 4, 5, 6, 7 и 8**

**КНИГА ВТОРАЯ**

**Издание автора**

**1980**

## ЧИТАТЕЛЮ ДЛЯ СПРАВОК

### ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. СОЛОВЕЦКИЕ ЛЕТОПИСЦЫ .....	13
Глава 2. СМУТНЫЕ ГОДЫ — ГОДЫ ТЕМНЫЕ .....	32
Глава 3. «СТОЛЫПИНСКИЕ» У НОВЫХ ХОЗЯЕВ .....	41
Глава 4. ПОПОВ ОСТРОВ — ПРЕДДВЕРИЕ ГОЛГОФЫ .....	47

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. НА ЗАРЕ ЛЕНИНСКИХ СОЛОВКОВ .....	71
Глава 2. ГОЛГОФА ВСТРЕЧАЕТ .....	78
Глава 3. НА КАЗЕННЫХ ХАРЧАХ .....	90
Глава 4. ЧИСЛЕННОСТЬ И СУДЬБА СОЛОВЧАН .....	112
Глава 5. СЕКИРКА .....	121
Глава 6. ДЕВЯТЫЙ КРУГ — В ЛЕСАХ .....	138
Глава 7. ФРЕНКЕЛЬ, ФРЕНКЕЛИЗАЦИЯ И ПРИДУРКИ .....	174
Глава 8. СТУКАЧИ И КОНДОСТРОВ .....	192

#### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1. КОНЦЛАГЕРНЫЕ ГОСТИ: коммунист Альбрехт, М. Горький, природолюб М. М. Пришвин .....	199
Глава 2. ДУХОВЕНСТВО И СЕКТАНТЫ .....	233
Глава 3. ЛАГЕРНАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» И РАССТРЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ .....	265
Глава 4. «АРИСТОКРАТЫ» — СОЦИАЛИСТЫ .....	277
Глава 5. КИНОФИЛЬМЫ «СОЛОВКИ» И «КАТОРГА»....	284
Глава 6. ПОБЕГИ... НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ .....	290
БИБЛИОГРАФИЯ .....	296

COPYRIGHT BY AUTHOR

---

Printed in U S A

**ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК**



**Лето 1928 г.  
Перед побегом в Китай.  
«Суждены нам благие порывы...»**

**УСТЬ-УСА НА ПЕЧОРЕ**



**Март 1941 г.  
«Освободился». Увеличенный снимок для паспорта.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ

### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1. ДОЛЮШКА ЖЕНСКАЯ .....	7
И Эрос под пятой ГПУ. — Кому позволено, кому — нет. — Изобилие проституток, заразных. — «Мамки» на Анзере и Зайчиках. — Разноречие среди летописцев о соловчанках. — Начальственные донжуаны.	
Глава 2. И МУЗЫ ПРИНЯТЫ НА СЛУЖБУ .....	16
ВТЧ-ВПЧ-КВЧ. — Зарождение театра. — Что ставилось. — Кто играл. — Различные оценки. — «ХЛАМ» и «Свои». — Скетчи и песни. — Оркестры и хор. — Зрители.	
Глава 3. БИБЛИОТЕКА, ГАЗЕТА, ЖУРНАЛ .....	27
30 тысяч книг. — Читальня. — Лекции. — «Гробы» для отказчиков. — Профкурсы. — Содержание газеты и журнала. — Журналисты и лагкоры.	
Глава 4. СОЛОВЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДЕНИЯ .....	35
СОК — оазис для интеллигентов. — Помощь Академии Наук. — Две точки зрения на работу в лагере.	
Глава 5. УДАРНИКАМИ ДОБИВАЮТ .....	38
Глава 6. КРЕМЛЕВСКИЕ РОТЫ .....	40
Их назначение, численность и режим.	
Глава 7. ИХ ЕЩЕ НЕ ЗАБЫЛИ .....	48
Лицейсы. — Художник Браз. — Ковбой на козле. — Мексиканский консул. — Профессор-хиромант. — Командарм Кожевников. — Фрейлина среди падших. — Скорбный путь Брусиловой. — «Наш Ванька». — Мерзавец Чистяков.	

### ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### ТАК БЫЛО В СТАРОЙ РОССИИ

Глава 1. РУССКАЯ УГОЛОВНАЯ КАТОРГА .....	74
Кто ее описывал. — Начальство и его отношение к писателям. — Первые впечатления. — Обилие обслуги и прислуги. — Палач в няньках.	
Глава 2. Э Т А П Ы .....	79
В кандалах по Сибири. — «С Богом, ребята!». — Отношение к этапникам. — Пища в пути. — Этапы советские.	
Глава 3. ТРИ РАЗРЯДА КАТОРГИ .....	81
Испытуемые. — Исправляющиеся. — «Вольная тюрьма». — На частных квартирах. — Мужичок, работающий за двух.	
Глава 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ .....	83
77 дней отдыха. — Продолжительность рабочего времени. — На 700 часов в год меньше советских зэка.	
Глава 5. СМЕРТНОСТЬ И БОЛЕЗНИ .....	85

	«Самое здоровое место в России». — 194 умерших за год. — Причины смертности. — Голые в гробах.	
Глава 6.	ПИЩА. — ОДЕЖДА. — ПОБЕГИ. — РЕЛИГИЯ .....	88
	Нормы довольствия. — Качество его. — 1500 беглецов. — Три рубля за пойманного. — Четыре церкви. — Кто пощает. — Говенье кандалных. — Поп Семен.	
Глава 7.	ПОЛОЖЕНИЕ ГРАМОТНЫХ КАТОРЖАН .....	93
	Нужда в писарях. — Опасность попасть в кандалную. — В чем ужас каторги для интеллигентных.	
Глава 8.	ПОДЛИННЫЕ ХОЗЯЕВА КАТОРГИ .....	94
	Кто держит в руках каторгу внутри и снаружи. — Их нравственный уровень. — «Легкий ветерок» гуманизма. — «Мертвого дома» уже нет. — «Смесь Держиморды и Яго».	

### ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава 1.	САХАЛИНСКИЕ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ .....	99
	За что каторжанки на Сахалине. — Первое знакомство. — Выбор сожительниц. — Кем, кого и зачем. — Разгул проституции. — «Живу теперь с хорошим человеком». — Слухи об унижении женщин опровергаются Чеховым.	
Глава 2.	ОНОРСКАЯ ДОРОГА .....	104
	Единственная большая трагедия на Сахалине. — Работа под палкой каторжника. — Самоуверье. — Побег. — Смертность. — Людоедство.	
Глава 3.	АМУРСКАЯ «КОЛЕСУХА» .....	107
	«Подвижная каторга». — 2000 верст за 11 лет. — «Сгубила сотни жизней». — Разные взгляды на «Колесуху» у Соболя и Врублевского. — Фельдшера — «властители жизней».	
Глава 4.	ОБВЫКНЕШЬ, ТАК И В АДУ НИЧЕГО .....	111
	Соколов — дедушка русской каторги. — Шкандыба принципиальный отказчик.	
Глава 5.	Л А Н Д С Б Е Р Г .....	116
	Каторжник — Аристократ — Деляга.	
Глава 6.	СОНЬКА — ЗОЛОТАЯ РУЧКА .....	119
Глава 7.	МАЙОР НИКОЛАЕВ .....	123

### ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НА САХАЛИНЕ .....	124
--------------------------------	-----

### ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ССЫЛКА ПОД НАДЗОР АРХИМАНДРИТОВ .....	134
ПОСЛЕСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ .....	163
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН .....	169

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### Глава 1

#### ДОЛЮШКА ЖЕНСКАЯ

И на Соловках, как заведено повсюду в местах изоляции, запрещалось общение между заключенными мужчинами и женщинами, особенно общение физическое, половое. За последнее могли послать и посылали мужчин даже на Секирку, а женщин на Зайчики или Кондостров, если застигнутые на месте преступления не имели должного «веса» на острове. В первые годы Соловков в кремле до повышения в начальники Кондострова, отличался и прославился на поприще истребления этого «зла» некий Райва.

«Утвержденным свыше гонителем любви в соловецком кремле, ее Торквемадой и неутомимым охотником на (концлагерных) Ромео и Джульетт был ссыльный чекист Райва. Его фигура в длинной кавалерийской шинели с грязной кавалергардской фуражкой на голове была известна всем» — писал Ширяев (стр. 91).

Правды ради, надо сразу же полным голосом объявить, что Райва и иные, властью на это облеченные, занимались ловлей лишь тех, кто не мог рассчитывать на крепкую защиту, т.е. рядовых соловчан и соловчанок. Зайцев (стр. 112), подтверждая это, добавляет, что «простые арестанты в громадном большинстве не имеют возможности свиданий, да, кроме того, все они настроены абсолютно нелюбовно». Кое-какие пары с риском встречались и услаивались, с риском наспех укрывались на несколько минут, и как дворовые по Салтыкову-Щедрину, с опаской «вожделяли и насытившись, разбегались». Ширяев убийственно припечатывает (стр. 331 и 341), как он с Глубоковским ночью на Онуфриевом кладбище за кремлем, будто бы наблюдали подобную сцену, исполняемую парой под крышкой «почетного гроба», в так называемом «автобусе» для индивидуальных похорон друзьями. При всем скотском взгляде на «любовь» и у «подвагонных проституток», в начале изобиловавших на Соловках, и у отпетой омерзительной мелкотравчатой шпаны, все же не верится, будто пара таких отродий забралась миловаться в гроб, пропитанный гненом многих побывавших в нем трупов... Беда с этими литераторами. Занятно таких читать, да гложет сомнение... особенно тех, кто сам побывал в тех местах и в те годы. А впрочем, почему не допустить одного единственного подоб-

ного случая за всю историю советских Соловков? Верим же мы, что на Соловках отказчиков привязывали к оглоблям (точнее — к подсанкам), и лошади, погоняемые конвоем, волокли их в лес. Было это, кажется, в 1924 году один или два раза со шпаной. Так я слышал от жулья на материке в 1930 году. Но сие к нашей теме о женщинах приведено лишь для того, чтобы отметить исключительность подобных случаев. Из ряда вон выходящие события происходили, происходят и будут происходить во всех местах заключения во всех странах, но только в советской прессе о советских подобных событиях никогда не напишут.

В начале, в 1923-1927 годах из сотни соловчанок 60-65 процентов составляли профессиональные проститутки разного калибра, от которых ГПУ разгружало столицы, 10-15 процентов—уголовницы всяких мастей и жены красных купцов—нэпманов, а остальные, т.е. 20-30 процентов — каэрки: жены военных, сановников, дипломатов, помещицы, аристократки, купчихи и просто крестьянки, сосланные сюда за расстрелянных мужей и отцов, воевавших против большевиков. По Мальсагову (стр. 132) в Соловецком лагере в 1925 году было 600 заключенных женщин, из них три четверти он относит к уголовницам, официально сосланным за проституцию. Охотникам соображать не по процентам, а по головам, можно сообщить, что вначале на острове было до 400 женщин, к 1927 году — до 600 и позже, к тридцатым годам — до 800, но никогда численность их не достигала десяти процентов ко всему населению острова.

В первое время почти все женщины размещались в женском бараке или корпусе, прежней Архангельской гостинице или странноприимном доме для богомолок, и только оштрафованная часть их — на Анзере и Заяцком острове. Потом, с лета 1925 года, после вывоза с острова политических — эсеров, меньшевиков и анархистов — часть женщин переселили в Савватьево и Муксальму для использования на сельскохозяйственных работах: на скотных дворах и на огородах. Зайцев припоминает (стр. 11):

«Начальником Савватьевского отделения был чекист Кучьма. Возвращаясь по ночам из кремля зело пьяным, он с дежурным и лагерным старостой Основой отправлялся проверять женбарак. Шли они полюбоваться на спящих женщин, главным образом каэрок. Будили их, садились к ним на кровати... Просыпались все девицы легкого поведения, собирались полуголые вокруг начальства и начинались мелко-скабрезные разговоры...»

Самых отчаянных проституток, протестовавших против незаконных арестов, лагерного режима, неработавших и, вдобавок, распространявших венерические болезни, из женского корпуса перегнали на Анзер и заперли в каком-то амбаре или складе, посадив их на штрафной паек. Ширяев (стр. 344, 345), побывавший у них осенью 1924 г., по его словам — воспитателем, передает такие жуткие подробности о положении этих исчадий, что с трудом верится. Правда, забирали таких в столицах без всяких формальностей с квартир и улиц, «без вешшей», а на Соловках тогда никого ничем не прикрывали, разве что из жалости — мешком. Приезжали на остров так: сверху манто, под ним — голо. Протестуя, они и на Кемперпункте в 1924 году ничего лучшего не придумали (см. Мальсагова, стр. 133), как скопом итти в баню через лагерь, в чем мать родила. С годами-то, знаем, гедеушники и НКВДисты укротили и сократили эту «половую вольницу»: одних вогнали в могилы, других взнуздали, смирили и выпустили гнуть спину на красной барщине.

Вот вперемешку с ними и жили на Соловках каэрки. Не все, понятно, а наименее удачливые, если это слово тут подходит. К «удачливым» я отношу тех, кому по лагерной мерке довелось сносно отбывать срок: тех, кто оказался пристроенным в театре, в СОКе, в лазарете, в конторах, в семьях военного начальства гувернантками, поварами, учительницами детей, а таких было не мало. Они жили обычно в комнатах второго этажа, так сказать, своим мирком. Остальные каэрки, в большинстве из крестьянок и менее удачливых и более строптивых и гордых интеллигенток, дышали одним с проститутками и воровками воздухом, насыщенным матом, скабрзностями и гамом. У Зайцева им отведена отдельная глава КОШМАР ДЛЯ КАЭРОК (стр. 109-116), из которой и приведем сейчас выдержки, сохраняя его особый стиль изложения:

«На Соловках содержалось также несколько супружеских пар, большей частью из военной среды. Им разрешались свидания на один час раз в месяц при дежурной комнате. Часто мужья возвращались со свидания с омраченными лицами, слышавшись от жен, в каких условиях им приходится жить в обществе проституток, не дающих им покоя ни днем, ни ночью... Иногда несколько веселых и ярких девиц принимаются избивать протестующую ненавистную «аристократку» или «буржуйку», возмущившуюся их бесчинствами... Все эти гулящие девицы заражены венерическими болезнями.., а приходится есть вместе с ними из общих бачков... Всех невзгод от совместного житья не перечислишь... После укладки спать, вы-

являются сладострастные нимфоманки из среды веселых дам — а их в женбараке больше половины — и попарно начинают выполнять приемы однополой любовной связи... Вообразите состояние духа в эти часы у интеллигентных арестанток, особенно пожилых и солидных... Такие факты повторяются довольно часто... Нередко нам на поверках объявляли приказы, в которых были такие параграфы: «Заклученные Таисия П. и Пелагея Т. арестуются на 14 суток за однополую любовную связь». Это уж такие постоянные сладострастные нимфоманки, что своим поведением извели всю камеру, которая и довела до сведения администрации».

Годом, может двумя годами позже, Андреев (стр. 80) как бы подтверждает рассказ Зайцева о лесбиянках, приводя такой эпизод:

«...В этой камере (в женбараке) жили: огненно-рыжая Клара Ридель, Алиса Кротова, бывшая любовница бывшего японского посланника и Римма Протасова, та самая Протасова, которая в Соловках... основала орден любви, некогда процветавший на одном из островов Эгейского моря.\* Орден просуществовал недолго: о нем тотчас же узнало начальство и на Протасову было начато следственное дело. Начальник санчасти (Тогда им была вольная М. В. Фельдман, жена члена коллегии ОГПУ, по Ширяеву — см. стр. 285 — «Коммунистка, атеистка, страстная, нераскаянная Магдалина», о которой память, как о доброй начальнице, дошла и до нас, соловчан тридцатых годов). Фельдман, получив дело для врачебного заключения, наложила на нем краткую, но сильную резолюцию: «Против природы не поперешь». Дело было прекращено».

\*\*  
\*

Ни строгости начальства, ни ретивость всяких Райв не могли искоренить лагерных амуров. Они только опошляли «амурство» и совершенствовали его хитрость и ловкость. Соловчанок, согрешивших против запрета любви или проще сказать, половых потребностей, в обычном порядке переселяли в женский штрафной лагерь на Заяцком острове. Там над ними сперва начальствовал некий Гусин, якобы видный деятель крымской ЧК при Бела Куне (Клингер, стр. 190), а после, с 1926 года — семидесятилетний еврей, бухгалтер ЧК Маргулис (Ширяев, стр. 15). Вместе с неоплодотворенными грешницами

---

\*) Андреев сообщил мне, что эти имена вымышленные. Подлинные он забыл и не может вспомнить.

попадали туда и забеременевшие. Режим на Зайчиках был строгий, мужчин — шаром покати, паек — штрафной, место голое, весь островок с часовой, как на ладони. Оттого забеременевшие, оставшиеся в бараке, но не пойманные, скрывали свое состояние до самого последнего дня. И когда уже некуда было деваться, почти на сносях — они «объявлялись», т.е. признавались в беременности. Таких из женбарака отправляли не на Зайчики, а на Анзер. Там, на Голгофе, они рожали и выкармливали грудью младенцев-соловчан «в сравнительно сносных условиях на легких работах», жили в главном корпусе и получали статус «мамок» (Ширяев, стр. 344).

Куда более мрачными красками рисует положение «мамок» Клинггер (стр. 190):

«Безнаказанно насилуя каэрок и уголовниц, заражая их и делая матерями, чекисты свою вину возлагают на подневольных арестанток. Сейчас же после родов младенцев отнимают у матерей, а их отправляют на Зайчики, где не лучше, чем на Секирке. Там над ними глумится чекист из Крыма Гусин, доводя их до сумасшествия и самоубийств».

О судьбе младенцев Клинггер упустил рассказать. Но вот еще более чудовищные вести про 1927-1929 годы преподносит читателям сам уполномоченный ИСО Киселев (стр. 98, 99):

«Я видел на Анзере на Голгофе 350 «мамок», все в грязных мешках из под картофеля с дырами для головы и рук и в лаптях на босую ногу. Младенцы получают литр молока в неделю, «мамки» — 300 гр. хлеба и два раза в день грязную воду, в которой варилось пшено. В отчаянии, многие «мамки» убивают своих детей и выбрасывают их в лес или в уборную, а сами кончают жизнь самоубийством. За детоубийство их ссылают на Зайчики на один год, но, обычно, через месяц отсылают на штрафные работы, чтобы не сидели без дела».

Спрашивается, сколько недель на таком питании «в холодной огромной церкви с одной плитой, лежа на еловых ветках» могут прожить «мамки» и дети? Ведь этих детей, когда они подростками, отвозили в детдома. Оттуда еще через несколько лет часть их отбиралась в специальные интернаты ГПУ-НКВД, где из них готовили смену таким Киселевым. Он-то знал об этом! Не в подъем врет человек! Вообще, об условиях жизни оштрафованных соловчанок каждый летописец передает, сообразуясь со своим образом мышления, и получается — «Кто в лес, кто по дрова».

Не берусь судить, насколько через край припугнул в этой области Клинггер. Об этом можно лишь догадываться, припом-

нив приведенную выше выписку из Ширяева. Зиму 1931-32 года я работал табельщиком на кирпичном заводе в двух километрах от кремля. Весною по дороге оттуда в леспромхоз я часто встречал на прогулке этих «мамок» с их детворой в возрасте от нескольких месяцев до 2-3 лет. Одеты они были в приличные лагерные юбки и телогрейки и выглядели отнюдь не так, как описывали Киселев и Клиnger. Но кто особенно тронул мое черствеющее сердце, так это незаконные, но фактические отцы сих «цветов жизни». Бог весть, как они узнавали свое семя, но так было отраднo видеть «папаш», в большинстве из солидных уголовников, когда они из карманов наделили карамельками своих чад, заботливо перегораживали канавку, устраивая на ней водяные мельницы или пуская по ручью бумажные лодочки. А лагерные жены их стояли рядышком, и по лицам видно было, что они тоже радовались такому доказательству верности лагерным узам. Если мамам не хватало чего-либо из съестного или одежды, «папаши», уверен, не преминули бы забраться в склады и ларьки лагеря, а еще безопасней — в чемоданы интеллигентных фрайеров и нэпманов. Отцов — чекистов в эти часы я тут, на дороге, что-то не встречал. И вообще, «мамок» гуляло не так много, может тридцать, не больше сорока. А 350 «мамок» на Анзере, насчитанных Киселевым, могло бы быть только в том случае, если бы поголовно все соловчанки, кроме пожилых и бесплодных, решили рожать вперегонки...

О дамах на прогулке в кремлевском скверике, распространивших запахи французских духов, уже упоминалось со слов Седерхольма в главе о кинофильме «Соловки». Об артистках подробную информацию получили от Ширяева. Познакомимся теперь с казками в соловешких канцеляриях, не во всех — их десятки. О них вполне литературно рассказывает Андреев, в те голы — 1927-1929 — бухгалтер финансово-счетной части (стр. 47, 49, 50):

«Рядом с моим столом стучит на машинке красивая блондинка Вальцева, арестованная до оформления брака с иностранным консулом. Тихая, печальная — жизнь в ней точно приостановилась и замерла. К ней часто приходит подруга Аня Зотова... Толстая, краснощекая... за версту дышет здоровьем и жизнерадостностью от этой анархистки, чья молодость проходит в ссылках, тюрьмах и концлагерях... Зотова, дурачась, переворачивает на столах документы, по пути шлепает меня по спине бухгалтерской книгой, тормозит Вальцеву, стараясь ее развеселить. Аню все любят... она способна принести людям утешение» (Об этой Зотовой есть дополнительный

штрих на стр. 64 первой книги. М.Р.)

...Днем, в неурочное время, иду в управление. В канцелярии сидит и плачет Вальцева. — Что случилось, Лидия Петровна? Она роняет голову на руки и плачет еще сильнее... Я бегу за водой, неумело успокаиваю:

— О чем так?.. Выпейте воды... Ну что такого могло случиться?

Подняв голову, она показывает на открытую дверь в кабинет моего начальника Шевелева\* и, всхлипывая, прерывисто говорит: — Он вызвал меня на работу... Позвал в кабинет и набросился на меня. Я вырвалась, крикнула, что побегу в коридор и закричу... Тогда он ушел... Подлый сексот!..

Раза два я встречал у Шевелева высокую, интересную женщину, бывшую владелицу большого имения в Тульской губернии. Шевелев жил с ней. Но зачем он обидел Вальцеву? Ведь не мог он не знать, какое горе причиняет ей, еще не забывшей своей любви. Но больнее отозвались последние два слова: было известно, что благополучие Шевелева зиждется на слишком лояльном его сотрудничестве с главным соловецким чекистом. С горечью припомнил его же наставление мне: «Не верь людям!»..

Иногда, — вспоминает Андреев — в нашу канцелярию заходит маленькая австриячка Мария, хрупкая, изящная. Она едва лепечет на русском языке.\*\*

---

\*) Шевелев — старый эсер и Вальцева — имена вымышленные, но должности и события точные. Так подтвердил мне Андреев. На стр. 47 и 49 он рассказывает, как этот бывший подпольщик преподавал ему «уроки соловецкой жизни». Шевелев вскоре освободился и Андреев на короткое время был назначен на его место.

\*\*) На самом деле она не австриячка, а венгерка, не Мария, а Тереза, приехавшая в Москву разыскивать своего отца. Он был видный коммунист. После того, как Хорти подавил восстание Бела Куна, отца оставили в Будапеште для подпольной работы. Вскоре он уехал в Москву и след его пропал. Терезу в Москве через две недели арестовали и отправили на Соловки. Отец был расстрелян. Перед войной экскурсовод по Белбалтканалу повстречал там эту Терезу, служившую медсестрой, и упомянул о ней в своем очерке в НРСлове. Это и дало повод Андрееву порадоваться. В статье в НРСлове от 25 декабря 1977 г. он «расшифровал австриячку Марию», с которой был в дружеских отношениях на острове в 1927-1929 годах.

Попав вторично на Соловки в 1933 году, Андреев узнал, что Терезу вывезли на материк для работы в санотделе Белбалтлага.

В Бутырьках и на этажах воровки и проститутки научили Марию нескольким матерным фразам, выдав их за русское приветствие. На Соловках в камере веселых девиц ее лексикон в этой области расширили еще больше и она долго потом ошеломляла встречных забористой бранью, создавая о себе ложное мнение».

\*\*

Не знаю, случайно, нет ли, но положение женщин на острове описывается одинаково мрачно-жуткими красками, как белым офицером Клингером о первых годах открытого террора (1923-1925), так и работником «органов» Киселевым, но о более позднем и не столь жутком периоде (1927-1930). Вот примеры:

КЛИНГЕР (стр.201):

«Чекисты то и дело врываются ночью в женский корпус и творят там неслыханные насилия. Начальник финансово-счетной части Соколов (стр. 176) вольный, из банковских счетоводов, не чекист и не коммунист, силой принуждает всех прибывших в Соловки молодых женщин служить у него в канцелярии и на глазах у всех безнаказанно их насилует. Весь лагерь ненавидит его больше, чем чекистов... Не лучше Соколова начальник кремлевской канцелярии, заключенный из офицеров Анфилов (стр. 171). Жалобы на него изнасилованных даже в Москву остаются без последствий...»

КИСЕЛЕВ (стр. 162):

«Мелкие и средние чекисты в 9-ой роте (их там, по Клингеру, свыше ста человек) открыто водят казрок к себе в комнаты и там делают с ними что хотят. Те молчат, чтобы не попасть в лес на верную смерть... Едят они в ресторане вольнонаемных, а если в роте, то обеды готовят им кухарки. Одна из них была княжна Гагарина... У чекистов — надзирателей издавна заведено правило обмениваться «марухами» (наложницами), о чем они заранее договариваются (стр. 96) ...А некрасивые работают в лесу на вывозке бревен и дров (стр. 95)».

Не столь жирными мазками рисует эту часть соловецкой картины генерал Зайцев (стр. 112). То ли он брал бледные краски, то ли Клингер и Киселев рисовали малярными кистями, дескать, не жалей, мажь — деготь наш!..

«...Что касается ссыльных чекистов, занимающих начальнические должности — поясняет Зайцев — то они, в отличие от простых арестантов, удовлетворяют свое сладострастие даже черезчур. Все это делается открыто, всем известно, лишь одно

начальство показывает вид, будто оно не замечает этого, ибо оно само больше всего преступно в этом ...Пользуясь своим положением, оно привлекает для телесной улады арестанток. Если какой-нибудь начальствующий тип или сотрудник, ведающий нарядам женщин на работы (завотделом труда, — такой был бабник Редигер) или надзирающий за женбаракком — начальства на Соловках множество — облюбует какую-нибудь каэрку и поведет приступ с целью добиться любовного сближения, то несчастная нравственная каэрка попадает в весьма тяжелое положение».

Дальше на целой странице (113-ой) Зайцев подробно объясняет, как ведется «приступ» и каковы последствия для заключенной, если она покорится или воспротивится домогательствам. Из этого можно заключить, что все же с женщин белья не срывали и на постели их не бросали. Уговаривали, подкупали, запугивали — да! Но далеко не каждая славалась.

«В мое время — подтверждает Зайцев — отбывала наказание на Соловках вместе с матерью очень интересная и милостивая барышня Путилова. На нее было много претендентов. Скольким ей несчастной пришлось перестрадать и пережить!.. Однажды я видел ее работающей в поле. Ее заставили разгребать по полю нечистоты из уборных. Хватит ли у нее мужества и крепости сохранить свою чистоту до конца?... Приведу другой факт, которому тоже был очевидцем. Во время литургии в кладбищенской церкви, когда пели «Хвалите имя Господне», раздался громкий истеричный женский вскрик: «Боже! за что? за что?» Это была Наживина из Царицына. Муж расстрелян, ей дали десять лет Соловков. Дома остались без присмотра пятеро детей и никого из близких. А тут, как говорят, чекисты заразили ее. Можно ли придумать для нее еще какие-нибудь страдания?»

До сих пор Зайцев говорил о «чекистах средней марки», вот тех, из 9-й роты. Но, по его словам, соловецкими донжуанами были также: сам Эйхманс, начальники отделений и надзора, начальники эконом.-коммерческой части Е. С. Барков и А.И. Филимонов и другие. Ссылаясь на заведующего кремлевской баней поездушника Л.А. Олейникова, с которым он при Секирке жил в одной келье, Зайцев описывает, как этот поездушник устраивал «банные оргии» для самого Эйхманса. Интересуетесь деталям? Они на 114-ой странице... Она заканчивается так: «Приходилось угрожать некоторым (намеченным кандидаткам. М.Р.) насилием... Баня, конечно, прочно запиралась; снаружи ставилась охрана. Дальше идут неинтересные подробности...»

Из кого выбирали этих «массажисток поневоле», Зайцев не пишет, но проговаривается, будто им за это, по словам Олейникова, сокращали срок, в чем Зайцев сомневается. Напрасно. Это вполне возможно. Легче, чем вести «приступ» на непокорную. Эйхманс не мог лично никому, даже проститутке даже на сутки сократить срок (но мог любого и любую отправить на Секирку на три месяца). Срок сокращала или заменяла ссылкой Разгрузочная комиссия по спискам, составленным местным начальством. Разве откажет Эйхмансу нач. КВЧ включить в них какую-нибудь Наталию П., «массажистку» за «образцовый уход за быками». Кто там будет доискиваться подноготной?!

\*\*  
\*

Хуже Соловков был для женщин Кемперпункт с его первыми уроками покорности и страха, особенно в первые годы — в 1923-1925, когда там начальствовали Гладков и Кирилловский. Тогда, кроме категорий трудоспособности, женщин делили еще и на разряды по их половой привлекательности. Лучших называли «рублевыми», похуже — «полтинничными», самых лядящих — «пятиалтынными». У помощника коменданта Топорова был целый гарем из «рублевых». Он же, по словам Клингера (стр. 210), поставлял соловецкому начальству для услады отборные «экземплярчики». Когда однажды семнадцатилетняя полька оттолкнула сластолюбца, Топоров при всем надзоре раздел ее и подверг унижительному обыску, будто она спрятала секретные документы.

Не лучше, а еще похуже Топорова был там в те же годы лагстароста из чекистов Чистяков...ну, да о нем дальше дадим особую страницу. Он заслужил ее...

---

## Глава 2

### И МУЗЫ ПРИНЯТЫ НА СЛУЖБУ

На втором году концлагеря — в 1924-м — Соловки прикрылись «накидкой газовой со стеклярусом» (Солженицын): появился и воспитательно-трудовой отдел — ВТО — формальным начальником которого поставили Н.Г. Неверова. О нем Ширяев отзывался так:

«Чекист-хозяйственник из сельских учителей, бесцветный, но мягкий по характеру человек... На Соловках он был чуть ли не единственным, прибывшим туда добровольно. В помощники

ему для фактического руководства дали быв. начальника Закавказского ЧК Д. Я. Когана с десятилетним сроком, до революции крупного подпольщика и теоретика марксизма...»

Вскоре, однако через два, вывеску слегка подправили: «Т» — трудовой, на «П» — просветительный, но и ту к 1928 году замазали и объявили новую, на долгие годы вперед: КВО — культурно-воспитательный отдел, в котором с 1928 года начальствовал известный уже нам Д. Успенский, а с 1930 г. — Истомин, хотя и вольный чекист с двумя кубиками в петлицах, но вполне подстать Неверову: тоже бесцветный, недалекий и безредный. Но сущность, основное назначение этого ВТО-ВПО-КВО — оставалось прежним: «самодеятельность и саморазвлечение» (по Солженицыну), с учетом опыта прошлых лет и новых директив. Распространяться об опыте и директивах нет нужды. Они просвечиваются из прежних и дальнейших ссылок на летописцев с необходимыми порою пояснениями. А лучше всего прочесть в «Архипелаге» едкую главу «Музы в ГУЛаге», памятуя, однако, что в ней уже наторевшей рукой подвергнуты беспощадной порке «музы» не Соловков, а более позднего Белбалтлага, в чем, кстати, не сплеховал и Солоневич.

\*\*

Еще в годы Неверова при «воспитательном» отделе родились и подросли по инициативе самих соловчан ряд секций, из которых одной из главных тогда была театрально-художественная. О ней особенно пространно и документально вспоминает Б. Ширяев, принимавший в ней добровольное и активное участие с 1924 по 1927 год (стр. с 57 по 107).

Театр на Соловках зародился в 1924 году по инициативе захудалого провинциального артиста, тощего и длинного Сергея Арманова. Вначале подобранные им артисты днем где-то «мантулили» в кремле, зарабатывая пайку, а вечерами репетировали и играли. Да и репертуар был не ахти какой: что-нибудь из Чехова («Медведь», например), для политики — про «фашиста»-нефтяника Детердинга, для уголовников — хор сибирских бродяг, для разношерстных зрителей — начальства, солдаты, интеллигенции — кавказские танцы, цыганские романсы, балалечный виртуоз. С привозом известного на юге провинциального комика старика Макара Семеновича Борина, театр по настоящему стал на ноги. Под него отдали и отделали бывшую монастырскую трапезную на 700-800 мест (но не на 1500, как размахнулся Ширяев).

Театр тут просуществовал почти до ликвидации лагеря,

а с передачей острова военно-морской школе, в нем устроили спортивный зал для курсантов (Богуславский). Первой постановкой Борина был «Лес» Островского. Прикрепленный к театру и освобожденный от других работ, Борин, «действуя тихой сапой», (Ширяев) добился такого же положения сначала для ведущих актеров, потом для десятка рядовых: прикрепил к театру портного, парикмахера, бутафора, плотников.

«Через год после «Леса», в изящно отделанном по эскизам художника Н. Качалина театре — рассказывает Ширяев — Борин дал перед Разгрузочной комиссией во главе с самим Глебом Бокийем, парадный спектакль. Ставили «Бориса Годунова» Пушкина, в костюмах, сшитых из нераскраденных пока запасов парчи монастырской ризницы. Потом в этих костюмах — продолжает Ширяев — играли «Царь Федор Иванович», «Девичий переполох» и «Василису Мелентьевну». Даже поставили оперетку «Тайны гарема», при чем танец негр-тяг исполняли... дети командиров соловецкого полка, обученные артистом балета Шелковниковым. Шли «Дети Ванюшина», «На дне», «Коварство и любовь», «Потоп», «Сверчок на печи», «Заговор императрицы» А. Толстого, переводная комедия «Три вора», переработанный «Идиот» Достоевского и, как принудительный ассортимент — «Поджигатели» Луначарского, «Рабочая слободка» Е. Карпова, «Мандат» от Мейерхольда. О грубой агитке... на Соловках не было и помину. Играли даже запрещенные в стране пьесы, такие, как «Псиша», «Старый закал», «Калужская старина», «Сатана».

«Попов и генералов все равно не сагилируешь, а гнилую шпану и агитировать не стоит! — изрек, разрешая их Эйхманс, выражая, очевидно, взгляды коллегии ОГПУ на Соловки, как на свалку недобитых...» — заключает Ширяев.

Перечисленные Ширяевым пьесы никак не согласуются с тем репертуаром, который напрашивается из строчек Солженицына о соловецком театре (стр. 38):

«На артистах костюмы, сшитые из церковных риз... «Рельсы гудят». Фокстротирующие изломанные пары на сцене (гибнущий Запад) — и победная красная кузница, нарисованная на заднике (мы).

Еще более резкую отповедь театру, опять-таки и тут лишь общими фразами, дает тоже, как и Ширяев, офицер и монархист Клингер (стр. 184, 185):

«...К принудительному труду в культпросвете (так он называет театр. М.Р.) насильно привлекаются художественные силы... Эти подневольные культурные работники в правах и

обязанностях ничем не отличаются от помещичьих трупп эпохи крепостного права. Их заставляют выступать в пошлых агитационных спектаклях и концертах, лубках и пьесах, идеализирующих советскую власть и лагерную жизнь. Нашлись среди актеров и подхалимы, «зарабатывающие» расположение к себе администрации эксплуатаций труда и таланта других артистов, вынужденных под угрозой репрессий развлекать чекистов подлинной игрой и смехом сквозь слезы. Таковы, например, артист драмы Борин, человек не без театральных способностей, но нравственно павший, пьяница и плут, и некий Арманов. шарлатан и полнейшая бездарность, что, однако, не мешает ему выдавать себя за артиста театра Корша... В прошлых балаганах «ХЛАМа» (так называлась труппа М.Р.) вынужден был участвовать даже известный Карпов, бывший режиссер Александринского театра. (Думаю, что Клиггер спутал Карпова с Красовским. Ширяев не упоминает о нем, а он знал всех, тем более известных. М. Р.)... Кривляние, клоунские выходы на сцене ненормально бодрящихся, загнанных и голодных каэров производят жалкое впечатление. Громадное большинство интеллигентов не посещает спектаклей и концертов. Спектакли, концерты и лекции... рассчитанные развлекать соловецких помпадуров, бывают платные и бесплатные. На платных ставятся глупые, часто непристойные фарсы, и тогда зал переполнен администрацией и спекулянтами. На бесплатные спектакли чекисты набивают бывшую ризницу (ошибается: трапезную. М. Р.) заключенными, заставляя их выслушивать чушь коммунистических кликуш...»

В порядке совместительства с основной работой — подметать коридор в 10-й роте канцеляристов, Седерхольму (стр. 321, 322) навязали еще переписку ролей для артистов осенью 1925 г. Послушаем его:

«Закончив уборку, я законно уходил в театр, присутствуя на репетициях. В кремле два театра (т. е. труппы. М. Р.): один для уголовников («Свои») другой для «интеллигенции». В обоих театрах шли постановки, отражающие коммунистические цели. Актеры освобождены от тяжелых работ и пользуются некоторыми привилегиями. Но они, особенно артистки, должны иметь собственные костюмы. Будучи все время заняты, им приходится подкармливать сокамерников по роте, чтобы те приготовили им обед (этим «загнанным и голодным каэркам» в оценке Клиггера. М. Р.). Поэтому, театральная рота состоит в основном из спекулянтов, чекистов и «дам полусвета», короче — из людей, которые и на воле жили относительно

хорошо \*). Среди «артистов» наблюдается взаимная скло- ность, и нередко сегодняшний герой или героиня, завтра уже на кирпичном заводе или топит печи...»

От генерала Зайцева (стр. 112) нового ничего не узнали. Он в этой области скуп на слова:

«Для развлечения наказанных чекистов и агентов ГПУ, за- нимающих начальнические должности, имеются театры, кино, устраиваются концерты». И все!

Более подробную оценку дает Никонов (стр. 125):

«По соседству с библиотекой театр, обслуживаемый заклю- ченными с известными именами. Ставилась, конечно, агита- ционная макулатура, но исполнялась мастерски... Но проле- тариат (т. е. рядовые заключенные. М. Р.) сюда хода не име- ет... Чекисты всяких оттенков, небольшая часть специалистов, отдельные удачники, надзор и охрана — вот кто заполнял театр», — рассказывает Никонов о 1928-1930 годах.

Послушайте теперь Олехновича, кто с 1928 по 1933 г. включительно, жил в кремле (стр. 109-111):

«Зритель облегченно вздыхает — пишет он — когда ста- вилась какая-нибудь классическая пьеса. Для театра, хора и оркестра на Соловках находили все нужные профессии, вплоть до балерин, акробатов, художников и т. п. Пьесы ставят че- тыре раза в неделю. Первые два дня — платные, вторые — бесплатные по билетам от ротных и воспитателей. Платные постановки особенно нам желанные. Тогда многие покупают по два билета: себе и подружке. Театр открылся в 1926 или в 1927 году \*\*) и, откровенно говоря, для развлечения ску-

---

\*) Тут Седерхольм явно что-то путает. Чекистам и спекулянтам нет нужды готовить обеды артистам, а у артистов нет средств под- кармливать кого бы то ни было. «Дамы полусвета», т. е. особы легкого поведения и вообще женщины, в кремле могли только ра- ботать, но не жить. Для артисток в женском бараке за кремлем была особая комната.

\*\*) Нет, раньше — в начале 1924 года. Вот яркий пример короткой памяти арестантов. То, что происходило за 2-3 года раньше, для арестанта — глубокая старина и события тех лет доходят до него уже в искаженном виде. Тот же Олехнович, наблюдая через щелку в кулисах «Горького с дочерью в кожанке» (не с дочерью, а с не- весткой. М. Р.) добавляет: «А было это в 1928 или в 29г.—точно вспо- мнить не могу. Запутался в годах». Близость Олехновича к театру объясняется тем, что его приняли на «амплуа» переписчика ролей, как раньше — Седерхольма.

чающей лагерной власти. Потом для нас (уже на стр. 116, 117) в том же театре по несколько раз в неделю стали накручивать кинематограф».

Не все летописцы занимались охаиванием театра, не приводя фактов. Перепиской ролей для артистов занимались и Седерхольм, и Олехнович. Казалось бы, могли привести названия «макулатурных» и «агитационных» пьес, чтобы придать убедительность своим обвинениям. Но почему-то не приводят.

Лишь один из летописцев 1927-1929 гг. — Андреев, нашел для театра теплые слова (стр. 63):

«...Второе наше удовольствие — для души: соловецкий театр... Труппа сделала бы честь любому провинциальному театру. В театре — наше начальство, соловецкие боги, но незримо царит другая атмосфера. С оплаченным тобою билетом ты чувствуешь себя совсем не так, как в роте. В фойе прогуливаются люди, из зала доносятся звуки оркестра. Тут единственное место, где без опаски поговоришь с женщиной. Пока открыта сцена, ты ощущаешь себя полноценным, настоящим человеком».

\*\*

Кто же развлекал соловчан и их начальство, кто эти «загнанные и голодные каэры» — артисты? Опять-таки только у Ширяева находим их довольно полный перечень для 1924-1927 гг. На сцене, кроме уже им упомянутых ранее и обруганных Клингером Макара Семеновича Борина («нравственно павший, пьяница и плут»), и Сергея Арманова — (полнейшая бездарность и шарлатан) играли: младший режиссер 2-го МХАТ,а Н. Красовский, артист Камерного театра Борис Андреевич Глубоковский, сам Борис Николаевич Ширяев, бас-дантист Милованов, куплетист Жорж Леон, а из рядовых и любителей Ширяев упоминает только сенатского чиновника Кондратьева, правоведа барона фон-Фитцума, изящного белогвардейца Евреинова, бесталанного морского капитана князя О.-ского, смолянку вдову командира гвардейского полка Гольдгойер, отличную танцовщицу, столбовую дворянку-помещицу Хомутову-Гамильтон, и московскую именитую купчиху «чайницу» Высоцкую.

«Вместе с ними — пишет Ширяев — уживались и исполняли свои роли казак-бандит Алексей Чекмаза, вор Семен Пчелка, забывший свое подлинное имя, портовая притоносодержательница из Кронштадта Кораблиха. Все их горести и радости на

сцене разделяла свободная, очень красивая и талантливая девушка, засиживавшаяся на репетициях до поздней ночи. Она была свояченицей Петрова, командира охранявшего нас полка. Он даже поощрял ее участие в театре, где она воспринимала манеры и шарм от каторжанок-артистократок.

Театр избрал себе название ХЛАМ — Художники-Литераторы-Артисты-Музыканты, (не подозревая, что под ним раньше подвизалась одна из театральных трупп в Одессе, а позже в Киеве, в первые пореволюционные годы так называлось чье-то частное кафе. М.Р.).

К 1926 году театр настолько окреп и «возмужал», что мог ежемесячно давать по две премьеры, т. е. по две новых постановки. Два раза в неделю шли платные спектакли, на которых можно было сидеть, разговаривать и гулять в антрактах со своей «дамой сердца», а два раза — бесплатные, и тогда женщины приводила и уводила строем их старостиха.

Такой порядок существовал до 1933 года, а как было после — не знаем. Это подтверждают все летописцы.

«К пьесам — рассказывает дальше Ширяев — добавились эстрадные вечера на местные злободневные темы. На одном из них Жорж Леон, умело балансируя на острие лагерного меча, вызвал хохот сидевшей в креслах Разгрузочной комиссии и ее председателя Бокийя. Жоржу Леону комиссия «скостила» срок с трех лет до двух, Глубоковскому с десяти — на восемь».

Про себя составитель скетчей и артист Ширяев умалчивает, но, видно, и ему с десяткой привезенному на остров в 1923 году, что-то сбавили. Иначе его не освободили бы из Соловков в 1927 году. Вообще в этот приезд Комиссия, по словам Ширяева, была не особенно щедрой: «Освободили 20-30 хозяйственников и уголовников, а двум-трем созням уменьшили сроки».

Над чем же надрывали животики лубянские и соловецкие сатрапы? Чем их пощекотала артистическая и литературная братия? Ее там при театре и редакции околачивалось тогда не мало: Н. К. Литвин, сотрудник ростовских газет, потом эмигрант и сменовеховец, Борис Емельянов, поэт и блестящий версификатор, известный больше своим черным плащом-крылаткой, поэт Н. Бергер, оказавшийся потом, как и Ширяев, во второй эмиграции и писавший тут под псевдонимом Божидар и др., всех ли упомнишь! Значительно больше имен перечисляет Гернет в жур. «Право и жизнь» в рецензии на «Соловецкие острова».

Сохраним потомству куплеты из скетчей по книгам Ширяе-

ва и Андреева, добавив к ним те, что я припомнил с неминуемыми пропусками отдельных строк и даже четверостиший, — прошло ведь с той поры больше чем полвека!

Край наш, край соловецкий,  
Ты для шпаны и для каэров чудный край!  
Смело с улыбкой детской  
Ты песенку про лагерь запевай.

Соловки открыл монах Савватий,  
Был тот остров неустроенный пустырь.  
За Савватием шли толпы черных братий.  
Так возник великий монастырь.

Но теперь совсем иные лица  
Прут и прут сюда со всех сторон.  
Тут сплелися быль и небылица  
И замолк китежный древний звон.

И со всех углов Советского Союза  
Едут, едут, едут без конца,  
Все смешалось: фрак, армяк и блуза,  
Не видать знакомого лица.

Тут попы, шпана, каэры  
Доживают век.  
Тут статья для всех найдется,  
Был бы человек.

\*\*  
\*

Море Белое, водная ширь,  
Соловецкий былой монастырь  
Со всей русской бескрайней земли  
Нас на горе сюда привезли.

Занесет нас зимою мятель  
И запрячет на полгода в щель.  
Лишь весной найдут рыбаки  
Соловки, Соловки, Соловки.

Мило нам из щели соловецкой  
В даль взглянуть с улыбкой ясной, детской.  
Приходите к нам и слушайте, как тут  
Песенки веселые поют.

Здесь УСЛОН раскинул свои сети,  
В эти сети прет восторженный народ.

.....

.....  
.....  
.....  
Но не знают совсем Соловки,  
Ни забот, ни тревог, ни тоски.

\*\*  
\*

Шептали все... Но кто мог верить?  
Казался всем тот слух нелеп:  
Нас разгружать сюда приедет  
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

В волненьи все. Но я спокоен,  
Весь шум мне кажется нелеп.  
Уедет так же, как приехал  
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

Привезли нам с надеждами куль,  
Бокий, Фельдман, Филиппов и Вуль,  
А обратно повезет Катаньян  
Лишь печальный припев Соловчан:

Всех, кто наградил нас Соловками,  
Просим: приезжайте сюда сами,  
Проживите здесь готочка три или пять  
Будете с восторгом вспоминать.

Хороши по весне комары,  
Чузен вид от Секирной горы,  
Где от всяких ненужных (или: ударных) работ  
Отдыхает веселый народ.

\*\*  
\*

То не радио-параша и не граммофон,  
То поет поевши каши наш веселый СЛОН...

\*\*  
\*

«Параллельно со сценой — продолжает Ширяев — развивалась и концертная эстрада. Кроме многих, выступавших на ней певцов, скрипачей и пианистов, к 1926 году были созданы приличные духовой и симфонический оркестры (заслужившие потом похвальное упоминание Горького. М. Р.). Девять десятых программы занимала серьезная музыка Чайковского, Бородина (и для Горького — Рахманинова). «Чуют

правду» пел своим сверхмощным, но необработанным басом дантист-«шпион» Ганс Милованов. \*)

Не то соревнуясь с ХЛАМ-ом, не то в пику ему, уголовники создали коллектив «Своих». Но действительным художественным достижением «Своих» был прекрасный хор из 150 человек, исполнявший русские народные, а также арестантские и каторжные песни. Хор создал и обучил бывший регент императорского конвоя. Но «гвоздем» выступлений «Своих» неизменно был карманник Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, являясь как бы лагерным Зоилом. С цензурой он мало считался. Его выступления как раз подходили под культурный уровень комсостава Соловецкого полка. Отслушав классическую музыку, комсостав неизменно требовал Панина. Он оказывался тут как тут, и всегда с обновленным репертуаром. ХЛАМ и «Свои» просуществовали до 1927 года. Оформившийся концлагерный социализм смел их со своего пути».

Последнее утверждение Ширяева ошибочно. Театр на Соловках просуществовал почти до закрытия лагеря. О нем упоминают летописцы всех периодов, от первого Клингера до последнего Пидгайного.

Розанову в 1932 году, соблазненному афишей, удалось побывать на концерте и послушать Ксендзовского, бывшего директора Музыкальной комедии. О нем вспоминает на материке и Чернавин. В каком году попал в СЛОН Ксендзовский — осталось неизвестным. В 1931 и в 1932 годах он обслуживал два театра: управленческий в Кеми, и соловецкий в кремле, без конца путешествуя с материка на остров и обратно. Театральная энциклопедия высоко оценивала «исключительно красивый тембр голоса популярнейшего артиста петербургской оперетты», но после лагеря Ксендзовский отошел в тень и зарабатывал хлеб в концертном ансамбле.

Пидгайный (стр. 157, на английском), описывая видных украинских и белорусских националистов и оппозиционеров — тут он держится подальше от домыслов и поближе к правде — вспоминает, что в 1927 году режиссером соловецкого театра был Лесь (Александр Степанович) Курбас, известный руководитель украинского театра «Березиль», тамошний Мейр-

---

\*) Он содержался на Соловках и в 1932 году. Пломбируя мне зуб, Милованов открыто так разносил большевизм и власть, как после мне не доводилось слышать в других лагерях до самой войны с Германией.

хольд. Обвиненный в национализме, в конце 1933 года он был уволен и до ежовских дней пробавлялся в Москве, после чего попал в концлагерь. Снятый по чьим-то «проискам» весной 1937 г. с режиссерской работы в соловецком кремле, Курбас вскоре был отправлен в другой лагерь, где 15 октября 1942 года умер (или расстрелян. М. Р.). Хрущевцами посмертно реабилитирован.

Репертуар театра с годами, конечно, «левел», как повсюду в СССР. Чаще, особенно с конца двадцатых годов, навязывались соловчанам пьески советских авторов. Впрочем, ни одного названия их никто из летописцев не привел, кроме Ширяева. Но тот же Ширяев перечислил нам пятнадцать до-революционных пьес, частично уже запрещенных в стране, но разрешенных на соловецкой сцене. Он даже упомянул оперетку «Тайны гарема». Это ее, по всей видимости, отнес Клиндер к «непристойным фарсам». Ничего похожего на это в ней нет. По нынешним меркам ее вполне можно ставить даже в монастыре кармелиток. Да и «фокстротирующие изломанные пары (гибнущий запад)», осмеянные в «Ахипелаге», по моему, куда нравственнее новых стриптизов и старых русских кафе-штантанов с Верочкой Колибри и Срулеком.

Без Бориных и Армановых веобще не было бы театра на Соловках, без Приклонских и Захваткиных — Соловецкого общества краеведения — СОК,а. А без них сотни интеллигентных соловчан попали бы на общие работы, а многие из них — в общие могилы.

Не только соловецкая «знать» заполняла зрительный зал. Процентом 30-40 мест на платных постановках занимали рядовые заключенные, в том числе и шпана, по разным причинам «жаждавшие зрелищ». Остальные, огромное большинство, в том числе и образованные каэры, по горло были сыты «зрелищами» в кремле и в ротах. Они признавали более разумным поспать лишних два часа или полушэпотом обменяться мыслями с другом, чем смотреть «Псишу» или «Детей Ванюшина». Им было не до «зрелищ». Однако, из-за них едва ли справедливо охаивать работавших для театра и СОК,а. Спасая себя, они спасали и других, создавая в кремле особую атмосферу, в которой многим дышалось легче, чем через полвека в разных Потьмах и Дубровлагах.

## БИБЛИОТЕКА — ГАЗЕТА — ЖУРНАЛ

По соседству с театром, чуть севернее размещалась на втором этаже библиотека. Из трех летописцев наиболее полно описал ее Ширяев (стр. 120, 121):

«К 1927 году фонды соловецкой библиотеки превышали 30 тысяч томов. Их основой были книги, выделенные библиотекой Бутырской тюрьмы, но в 1925 году — в год «расцвета» культуры (и лесозаготовок М.Р.) из Москвы, по требованию Эйхманса, перед которым ходатайствовал Коган, ГПУ прислало несколько реквизированных частных и коммерческих библиотек. Коган возложенную на него цензуру провел поверхностно, выделив в закрытый фонд лишь несколько десятков томов, читать которые можно было только по особому разрешению ВПЧ. В библиотеке выдавали книги уже изъятые на материке, как «Бесы» Достоевского, сборник статей К. Леонтьева, «Россия и Европа» Данилевского и др.

Заведовал библиотекой бывший большевик и эмигрант царского времени Шеллер-Михайлов (Михайлов — партийная кличка), по прозвищу «Соперник Ленина» за то, что в чем-то разошелся во взглядах с самим Лениным, завербовал в свою партию 5 или 6 человек... и приехал на Соловки. Библиотечное дело он знал и вел его прекрасно. Но никакие газеты с материка, в том числе и московские, в лагерь для заключенных не допускались (в его годы. М.Р.).

При библиотеке был большой читальный зал, используемый раз в неделю для пропаганды на политические и антирелигиозные темы. Слушатели на них выслались из рот принудительно.\* В другие дни там шли доклады и диспуты чаще всего на литературные или научные темы, мало доступные массам. На них шли без принуждения, часто без оповещения; темы лишь регистрировались у Неверова. Читались доклады: по истории масонства проф. Макаровым (умер на Соловках), по истории Соловков доцентом Приклонским, о сокровищах Эрмитажа художником Бразом, о литературе Древнего Востока проф. Кривош-Неманичем и т. д. Самым интересным и оживленным был диспут на тему «Преступность в социалистическом обществе», в котором выступали и интеллигенты, и мар-

---

\*) Об одной такой лекции «антирелигиозной бациллы» 3 октября 1925 г. занятно передает на стр. 328 слушатель ее Седерхольм.

ксисты, и шпана. Особенно ярко было выступление Б. Глубоковского, утверждавшего, что преступность в СССР растет, принимая бытовые массовые формы и разрушая этические основы общества...\*) Парадоксальны и сумбурны были те (первые) годы на Соловках», заключает Ширяев.

Никонов (стр. 125, 126), оказавшись на Соловках в 1928 году, через год после Ширяева, только что переведенный из карантинной роты в 10-ю канцелярскую, пишет под настроением — «Дали волю — ходим по всему полю»:

«Мы могли теперь ходить по всему кремлю, посещать театр, библиотеку. В ней работал мой однокамерник по Бутыркам, комсомолец из Франции... Знание иностранных языков помогло ему устроиться в библиотеке, куда поступали (на пополнение. М. Р.) книги, отобранные при обыске и при освобождении (у тех соловчан, кто на свои книги не взял нужной справки от КВЧ. М.Р.). Тут же при библиотеке читальня, обильно снабженная газетами и журналами. Здесь можно было встретить читателей в серых бушлатах, имеющих блат (т.е. располагающих временем и условиями. М.Р.). Что касается «масс», то она и понятия не имеет о читальне».

Понятие-то имеет, от того и не читает, да и времени нет. Тот комсомолец-библиотекарь все еще пребывал на Соловках в 1931 и 1932 годах. Помню его. Там, за отгородкой, в закрытом фонде я листал толстую, с золотым тиснением, как Евангелие или «Беломорканал им. Сталина», юбилейное издание к трехсотлетию дома Романовых.

Не забыл вспомнить о библиотеке и Олехнович (стр. 117):

«Богатая. Книги почти на всех европейских языках. Некоторые из русских книг после цензуры удаляются с полок. Мы, западники, находили себе утешение в этой библиотеке».

Он же, Олехнович, вспоминает, с каким наслаждением после полуночи они, западники, слушали музыкальные радиопередачи европейских станций. Они переносили их с концлагерных нар и топчанов в сверкающие огнями далекие веселые столицы. Однажды, уже при мне, в зиму 1931-1932 года радист КВЧ не вовремя включил варшавскую станцию, и соловчане прослушали польский национальный гимн... Незаменимый в те годы радист отделался лишь карцером.

Вот и все. Остальные летописцы о библиотеке с читальней и о лекциях даже словом не обмолвились. Впрочем, и не до

---

\*) Об этом диспуте туманно передает в журнале «Право и жизнь» автор «Истории царской тюрьмы» Гернет.

того там было соловчанам до весны 1930 года при редких тогда, раз-два раза в месяц, выходных.

\*\*  
\*

Кто-то из культвоспитчасти в 1932 году, в разгар летнего трудового соревнования соцблизких придумал новый номер для борьбы с отказами и туфтой «ударников». Налево от Преображенского собора почти у восточной кремлевской стены было выставлено три гроба. Настоящих: черных, с каймой, на ножках и с приподнятой крышкой. За каждым гробом стоял большой деревянный крест с крупновыведенной надписью: «Здесь похоронен злостный отказчик от работ» и дальше — его фамилия. Первых двух запамятовал, а вот третьего помню, как сейчас: Томашевский — «Собака», прозванный так за то, что укусил или откусил нос кому-то из ротного начальства...\*). В самих гробах лежали трудовые обязательства «покойников». В них они клеймили позором свое прошлое и клялись впредь честно работать и примерно вести себя. Гробы простояли недели две и исчезли так же внезапно, как появились. Оказалось, новорожденные ударники вновь ударились в отказы от работ, в грабежи и воровство. Кто-то из вольных, будто бы, сфотографировал гробы и разнесся слух, что этот снимок появился в газетах Запада с пояснением: «Для устрашения заключенных на Соловках, ОГПУ выставило трупы расстрелянных отказчиков от работы»... Не удалось мне отыскать тут таких газет. Теперь думаю, что сама ИСЧ, пустив «парашу», нашла предлог на время и на всякий случай конфисковать фотоаппараты у вольных, пока они находятся на острове.

\*\*  
\*

Между театром и библиотекой было еще помещение, используемое воспитательной частью. В нем проводилась «ликвидация неграмотности среди соцблизких». Профессор Духовной академии И. В. Попов в 1925 и 1926 годах вбивал тут шпане аз-буки-ведь-глаголи. Существовали здесь и различные профессиональные курсы. На одни из них — на курсы счетоводов — ходил и автор этих строк, получив соответствующий «диплом» вместе с группой лекторов Киевской военной школы из бывших офицеров в чинах советских командиров рот, полков

---

\*) Более подробно об этом Томашевском рассказано в «Завоевателях» на стр. 164-167, когда он в 1937 году сидел со мной в карцере на Печоре.

и батальонов. Преподавали нам зубры своего дела. Ученики так же старались вовсю. Военная специальность при 58-й статье в лагере сулила общие нары и общие работы с уголовниками и бытовиками, а должность счетовода — топчан и место у печки среди арестантов своего круга. Френкелю на материк срочно требовались тысячи бухгалтеров и счетоводов, нормировщиков и табельщиков учитывать каждую тачку земли, каждое срубленное дерево, каждую тряпку из вещдвовольствия. Тогда, в 1927-1934 годах, арестантов с такой квалификацией выживалось сетями ГПУ недостаточно. Соловки стали кузницей перековки орнитологов, математиков, богословов, артиллеристов и музыковедов. Они получали «дипломы» счетных работников и если не удавалось удержаться на острове, их перебрасывали в конторы материковых лесных и дорожных командировок.

Неверовская и истоминская воспитательные части все годы, до 1933 включительно (где после — не знаем) помещалась на третьем этаже управления слева, в последней комнате номер 12-й, окнами выходящей на кремль и пристань. При монахах это был семейный номер из двух комнат. Теперь в первой была концелярия, во второй — начальник. Ширяев подробно описал весь штат воспитчасти 1924-1927 годов. О Неверове и Когане мы уже знаем. Воспитатели хотя и появились, но особого вреда не причиняли. Побывал им недолго осенью 1924г. и Ширяев на Анзере, на Голгофе у сифилитичек-проститутток, даже, якобы, стенгазету с ними сварганил «Голос улицы», но лучше не вспоминать о ней... Вернемся к его информации о воспитчасти:

«Мысль о выпуске соловецкой газеты дал через Когана сменивеховец Н. К. Литвин... Обстоятельства благоприятствовали. В то время открылась и типография, организатором которой был дельный контрабандист Слепян из Себежа. Еженедельную печатную газету разрешили. Фактическим редактором назначили Павла Александровича Петряева, капитана гвардии, потом, при Советах, чуть ли не командарма на юго-западном фронте. \*) Цензором был комиссар соловецкого полка Сухов, бывший вахтмистр. Секретарем редакции поставили Тверье, придирчивого, подозрительного, провалившегося на работе в Германии. К счастью, вскоре взяли его в команду охраны в Кемь и секретарем стал милый, приветливый и ус-

---

\*) Не было такого. Проверял. Ширяев, очевидно, лично наклеил Петряеву лишний ромбик. М. Р.

лужливый Шенберг, тоже еврей, но из богатой купеческой семьи и прекрасно воспитанный».

О каждом из перечисленных лиц Ширияевым дана занятая и обширная биографическая справка.

«...В газете «Новые Соловки» — продолжает он — сотрудничал лишь узкий кружок бывших профессиональных и научных работников. Из «массы» откликнулась лишь наиболее аморальная ее часть. Письма и заметки от нее были густо, до отвращения насыщены подхалимством... Повествовали о перерождении и даже восхваляли «вкусный рыбный суп и веселую здоровую работу»... На Соловках эта подлость имела некоторое оправдание. Наивные авторы надеялись на сокращение срока, что для многих было бы спасением жизни. Подобные заметки и письма неизменно летели в корзину. В возможность «перековки» не верило даже начальство. О ней и не говорили... Начальник адмчасти Васьков, передавая одну из таких заметок Петряеву, сказал: — Вот, возьми. Тут какая-то сволочь тебе врет... Но газету читали и даже покупали. Из тиража в тысячу экземпляров на острове расходилось 100-120 номеров по пяти копеек за счет личных денег. Остальные шли на материк родственникам соловчан... Немного, конечно, узнавали они о их жизни из газеты».

Но подписывались, добавлю я. В самой газете за 1925 год (номер 106) так и напечатано: «Новые Соловки», еженедельная газета. Орган ячейки РКП (б) и Управления Соловецкими лагерями Особого Назначения ОГПУ. Редактор: Редколлегия. Остров Соловки на Белом море, УСЛОН, тип - лит. УСЛОН-ОГПУ. 1 руб. 50 коп. на три месяца.\*) Редакция-остров Соловки, через Кемь, Карельская республика...» И все же при такой «свободе печати» за границей, в Америке, например, не нашел «Новых Соловков» ни в Нью-Йорской публичной библиотеке, ни в библиотеке Конгресса.

«На Соловках — продолжает Ширияев — читали прежде всего очень краткую информацию о жизни в СССР и такой же обзор международной жизни. Читали в официальной части некоторые постановления коллегии ОГПУ и УСЛОНа (но, разумеется, не о расстрелах и саморубах. М. Р.). Читали театральные рецензии и добродушные фельетоны Литвина на местные темы.

Во много раз ценнее и интереснее газеты был ежемесячный журнал «Соловецкие острова» из 250-300 страниц... Он мог бы

---

\*) В 1926 году подписная плата снижена до 1 руб. 94 коп. на полгода с доставкой. М. Р.

смело быть назван самым свободным из тогдашних русских журналов в СССР (потому что) его тираж в 500 экземпляров был весь в распоряжении ОГПУ и оттого безопасен для большевиков. Пересылка журнала на материк — в отличие от газеты — допускалась лишь по особым разрешениям. Он освещал ОГПУ о настроении соловецкой интеллигенции (будто оно было о нем в неведении...М. Р.) и служил рекламным козырем, как доказательство гуманности соловецкого режима перед иностранцами (которые о нем и не ведали, исключая, может быть, членов Коминтерна в Москве. М. Р.), а главное — перед высшим слоем своей партии, где еще была сильна оппозиция (та самая, которая требовала покрепче наказывать — Рыков, Крыленко, Троцкий. М. Р.). Но тогда — поясняет Ширяев — мы не знали этого (как и того, что я в этом абзаце добавил в скобках. М. Р.) и работали в журнале, упоенные возможностью хотя бы частичного проявления свободы мысли».

К сожалению, как и в чем они проявляли эту «свободу мысли», Ширяев показать нам не мог. Четверть века прошло с того времени и до издания его книги. Не в праве мы упрекнуть Ширяева за это. А двух строчек, приведенных им в доказательство из чьих-то стихов на смерть Есенина:

«Не сберегли кудрявого Сережу,

Последнего цветка на скошенном лугу» —

явно недостаточно.

«Журнал распался на две части: художественную и краеведческую. Вторая — много обширней первой. Проза была бедновата. Шли рассказы Литвина, Глубоковского, мои... Стихов — больше. Евреинов, Бернер, Русаков, Емельянов, Акарский давали очень неплохую лирику, правдиво и искренно отражавшую соловецкие настроения. Интереснее был отдел воспоминаний... Многие вспоминали войну 1914 - 1917 гг. и их мемуары, как и ген. Галкина (т. е. ген. Зайцева, нашего летописца. М. Р.) могли бы смело идти в любом из современных эмигрантских изданий. Научно-краеведческая часть журнала интересовала не только специалистов. Все, касавшееся истории Соловков, находило читателя. Такого материала было немало. Сотрудники музея давали его в изобилии».

Воспоминания Ширяева о журнале и газете его периода могли бы быть дополнены выписками из рецензии о них известного потом автора пятитомной «в духе соцреализма и идеологически выдержанной» ИСТОРИИ ЦАРСКОЙ ТЮРЬМЫ Гернета. В те годы он писал также обзоры концлагерной и тюремной «прессы» в журнале «Право и Жизнь». Гернет, впрочем, хитро оговаривается, что «оценка тех или иных статей со стороны их содержания выходит за пределы нашей задачи

отметить самый факт существования периодических изданий на Соловках». Говоря о читателях журнала и газеты «вне Полярного круга», он добавляет: «Мы имеем в виду не только родных и близких (соловчан. М. Р.), для кого серые листки газеты и журнала может быть дороже, чем гравюры святых, раньше привозимые богомольцами». Из этих слов видно, что какая-то часть тиража журнала ширяевских лет попадала в частные руки и сохранилась. Подписная цена на журнал указывалась в 3 р. 45 коп. на полгода с пересылкой. В его седьмом номере есть описание соловецкого пожара 1923 года, так сказать, «по свежим следам».

Никто из остальных летописцев, кроме Ширяева, не стоял так близко к газете и журналу, почему и вынуждены ограничиваться им одним для 1924 - 1927 гг. Розанов был техническим редактором «Новых Соловков» лишь часть 1932 года в порядке «общественной нагрузки» для зачета рабочих дней, как ударнику. (В 1935 году таким, как он, все уже зачетные месяцы и годы были вычеркнуты в отместку за Кирова...) К отбору материала для газеты Розанов отношения не имел. Он получал его от Истомина (а за Истомина раза два или три стряпал передовицы), верстал газету и набирал заголовки в обедневшей типографии, оборудование которой почти целиком в 1931 году было вывезено в Белбалтлаг. Вместе с типографией и газетой туда отправили и тех, кто в них работал.

В редакцию, т. е. в культвоспитчасть после основной работы я заходил часто и знал всех по имени и отчеству, да из-за старческой памяти теперь с меня взятки гладки. Кроме вольного Истомина было два инспектора: один еврей, секретарь чехословацкой комгазеты «Руде право» со шпионской статьей, другой еще безусый миляга Морошкин, редактор псковской, кажется, комсомольской газеты. Осужден на три года за хулиганство: под мухой перед включенным микрофоном обматерил оркестр, запоздавший с «Интернационалом» на открытии комсомольской конференции. Делопроизводителем сидел лектор из школы Каменева в Киеве со следами сорванных четырех шпал на френче, в избытке располагавший временем писать прошения о пересмотре дела. Как же, жди — пересмотрят!.. И была еще кошка, про которую застряли в памяти четыре строчки:

Дремлет кошка на окошке,  
Кошке славное житье.  
Сам неистовый Морошкин  
Ноль без палки для нее.

Кошкой, видно, и закончим раздел о газете и журнале.

Ничем особым «Новые Соловки» в мои годы не отличались от ширяевских лет, разве тем, что стали побледнее, да появился новый отдел «Трудовое соревнование», да еще тем, что под заголовком газеты теперь стояло — это уже помню как дважды два: «Вывозу на материк не подлежит». А я таки вывез три номера, и когда в 1937 году снова был в лагере арестован, то порядком перетрусил: найдут газеты — лишнее основание для нового срока. Да успел шепнуть приятелю, с кем жил, и тот их уничтожил.

В «Завоевателях...» на стр. 51-й Розанов передает свой доклад в Соловецком театре «передовикам лагерной общест-венности» — несколькими десяткам лагкоров:

«Впереди сидит комсостав киевской школы им. Каменева... дальше — бывшие сотрудники всяких академий, ныне работающие в Соловецком обществе краеведения (СОК), еще дальше технический персонал различных производств. Люди, кажется, куда образованнее чем я. Неужели им так интересно слушать эту скучную тянучку цифр? (о заметках и лагкорах). Ключют но-сами, а сидят. Понимают: за эту «общественную нагрузку» им, как и мне, поставят в «книжку ударника» лишние про-центы и зачтут 45 дней. Зато рабочих не видно: они сделали свои (с туфтой) 110-120 процентов и плевали на всякую «общественность». И без нее получают ударный зачет».

Журнал «Соловецкие острова» продолжал выходить, но уже не на острове, а в Кемь, при КВО. Там же издавалась общеуслонская газета «Трудовой путь». Тех писателей, поэтов, артистов, кого вспоминал Ширяев, при мне на остро-ве уже не было. Одни из них давно освободились, другие от-правлены в Белбалтлаг одновременно с типографией, третьи переведены в Кемь в «Трудовой путь», кое-кто, возможно, умер в тифозную эпидемию 1929-30 года.

О «Перековке» в Белбалтлаге читайте у Солоневича, о «Трудовом пути» в УСЛОНе — у проф. Чернавина. Оба от-лично описали их, не жалея перца... Газеты эти — материковые, а я стараюсь держаться островных событий.

Из крупных журналистов в мое время на острове отсижи-вался Гарри, разъездной корреспондент «Известий», осужден-ный по шпионскому пункту. От КВЧ он держался в стороне, ограничиваясь лекциями о своем участии в 1928 г. на ледо-коле «Малыгин» в поисках известной экспедиции итальянца Нобиле к Северному полюсу. И часто ахал и возмущался, рас-сказывая знакомым, как на Лубянке у него копались во всех отверстиях в поисках «вещественных доказательств». Все же Гарри как-то убедил ОГПУ в своей белоснежности (или кто-то из партийных тяжеловесов вступился за него). Уже в 1934

году я снова встречал в «Известиях» его корреспонденций с Урала. Да был еще один знакомый воспитатель на каком-то, забыл, километре Филимоновой ветки. С ним я, табельщик дровозаготовок в 1931 году, проводил иногда час-другой за шахматами. Жил он, как барин, в собственной землянке, один, осужденный «на всю катушку» за шпионаж. Фамилия? Яков Явно. Специальность на воле? Возглавлял тайный сборный пункт, куда мелкие московские стукачи приносили свои доносы. Помещался сей пункт в доме номер 13 по Армянскому переулку, выходящему на Покровку. В 1923 - 1927 годах там размещались ТАСС и РОСТА и часть их служащих и репортеров.

---

## Глава 4

### СОЛОВЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДЕНИЯ

В островной воспитательно-трудовой семье «набольшим» числилось Соловецкое общество краеведения — СОК. В нем нашли тихое убежище от лесной угрозы десятки «очкастиков», как шпана обзывала интеллигентов. По официальным записям, СОК зародился в конце 1924 года «по инициативе Н. Г. Неверова», а заправилами его, опять-таки по бумагам, были: формально-председатель СОК, а Ф. И. Эйхманс, секретарь Н. Г. Неверов, член правления комиссар охранного полка И. Я. Сухов и технический секретарь — П. А. Петряев; в президиуме СОК, а числились: предшественник Френкеля, нач. эксп.-коммер, части А. И. Филимонов (по Зайцеву — стр. 113-я — «большой донжуан»), а секретарем некий Ж. Х. Бруновский. Фактически работа СОК, а, поделенного на секции или «кабинеты», направлялась их руководителями, в первую очередь А. А. Захваткиным, заведывавшим биостанцией. По оценке Богуславского, он — «известный биолог, не мало сделавший для изучения соловецких островов в двадцатые годы», затем А. А. Глаголевым, изучавшим и оставившим научные труды об особенностях соловецкого климата и Д. Г. Лавровским, председателем агрономического кабинета и зав. сельхозом и опытной сель.-хоз. станцией, заслужившим похвалу М. Горького.

О СОК, е знала Академия Наук и ее филиалы, чьи научные работники в описываемые годы уже отсиживались на Соловках. Именно по этой причине — как-то облегчить участь своих бедолаг, Академия и ее филиалы поручали СОК, у разные научные задания, на оплату которых переводили концлагерю

деньги. Тогда академики так еще не дрожали перед властью. Эти средства, в частности для Дендрологического питомника и питомника лекарственных трав при нем, никакого отношения к довольствию соловецких лесорубов не имели.

Нет спору, формальная логика на стороне Солженицына, когда он с иронией замечает (стр. 58):

«Добродушные краеведы здесь пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к предмету, будто эти досужие чудаки-ученые притянулись на остров по научной страсти, а не арестанты, уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на Секирную гору, под комара, или к оглоблям лошади».

Заключенному в большей степени, чем вольному, свойственно, переживая тяжелые условия, стараться так или иначе отвлечься от них думами, работой, так-как ни водки, ни семьи при нем нет. Иван Денисович увлекался кладкой стен, и в такие часы забывал о лагере. Понимаю его и одобряю. Доценты, профессора и прочие интеллигенты из СОК,а никак не могли бы увлечься заготовкой леса, торфа или кирпичика. Но вот, осторожно снимая слой за слоем с «черных досок», и обнаружив под ними изображение святого кистью «богомаза» 15 или 16 века, и особенно, когда удалось установить точно — кем, когда нарисована икона — этим можно увлечься близкому специалисту, в данном случае Щапову (Ширяев, стр. 110) или доценту Приклонскому, «наспех проглотившему баланду, чтобы успеть посмотреть найденные шпаной два светильника, оказавшиеся художественной итальянской работы средних веков». Эта находка и дала группе интеллигентов идею добиваться, через Когана, открытия религиозно-исторического музея на Соловках, хотя бы под вывеской антирелигиозного. И добились. (см. Ширяева, стр. 105 - 114). И сколько же интеллигентов после при том музее за работой и мирными разговорами забывали окружающую обстановку.

Наш летописец Никонов настолько был поглощен на Соловках поисками «русского биологического молока для кроликов» в Пушхозе, что из-за него проморгал «расстрельный приказ», осенью 1930 года заморозивший «оттепель». Да он и сам (на стр. 212) признается: «Непрерывная, интересная работа с кроликами отвлекали от дум». Пидгайный вспоминает проф. Яната (стр. 74 «Украинская интеллигенция на Соловках»), который едва не заплакал, вызванный с вещами на этап. Ему не дали и минуты, чтобы захватить для дальнейшей обработки свою лагерную картотеку о средствах борьбы с капустной мухой. Я сам мог бы привести фамилии многих инженеров, в работе забывавших о лагере и убежденных в том, что

они и тут служат России, а не большевизму. Немец Редер в своей книге «Каторга» (на нем. в 1956 г., на англ. в 1958 г.) на стр. 109 спрашивает на Воркуте латыша-добровольца 19-й дивизии, воевавшей на стороне немцев: — Почему ты работаешь, словно сумашедший? Хочешь чтобы мы оба сложили здесь кости для русских? И услышал в ответ: «Нет! Но в работе я забываюсь хотя на несколько часов, иначе давно бы сошел с ума».

Пример, можно сказать, близкий к Шухову. В защиту своего Ивана Денисыча, когда там раздались укоры некоторых критиков и читателей, что де Шухов находит интерес в каторжной работе, Солженицын дал пламенную отповедь, почти пригодную и к приведенным мною примерам. Разница лишь в том, что Шухов из колхозников, а в моих примерах люди умственного труда и воспитанные до революции. Шуховы могли завидовать условиям интеллигентов в лагерях, занятым в конторах, на сценах, в музеях или на должностях техников, прорабов, мастеров, геодезистов, таксаторов, и. т. д., но не могли и не мечтали заменить их. И Шуховы и шпана понимали, что при своем образовательном уровне их судьба мантулить, ишачить, гнуть спину, натирать мозоли при любой социальной системе, будь то на воле или в заключении, при капитализме или большевизме, при демократии или диктатуре. Интеллигенция, наоборот, боялась попасть в условия, судьбой уготованные Шуховым и уголовникам. Таков закон для человекоподобных остается и на ближайшие века.

Зависть и борьба за более хлебное, легкое и «блатное» место могут существовать на земном шаре только в границах, предопределенных этим двум группам. Шуховы — подноски цементу или лесорубы в лагере — могут изловчиться или просто по счастью или благу устроиться кипятыльщиками и даже уборщиками лазарета, Шуховы из рядовых колхозников на воле — вырваться на завод. Исключения тут могут быть, а правило, закон остаются. Подлецы или «рыцари без упрека» на высоких постах и должностях умело пользовались и пользуются донныне этим законом; первые — в личных партийных или государственных интересах, вторые — из общечеловеческих гуманных побуждений. На эту тему можно писать книгу или спорить до пены на губах. Не для того заведена тут о том речь. Хотелось лишь подчеркнуть эту суровую закономерность, а заодно напомнить, что Шуховы в Соловках двадцатых годов встречались редко. Сосланные на остров за участие в белых армиях и в партизанских отрядах крестьяне и рабочие имели отличную от Шуховых жизненную философию. Шухов не эталон для островных соловчан двадцатых годов.

## УДАРНИКАМИ ДОБИВАЮТ

Среди многих занятных страниц о соловецком театре, у Ширяева есть и такая (стр. 90):

«Следующим номером шел мой сатирический скетч, заостренный против нашей «рабсилы» — надсмотрщиков из заключенных, в большинстве из грузинских повстанцев... Загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врывались на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник. Трюк был настолько близок к кремлевской действительности, что публика (т. е. арестанты в театре. М. Р.) приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал: — Кто разрешил ударник? Убрать рабсилу к черту!

После этого, услышанного всем залом восклицания владыки острова, осмелевшие актеры стали с удвоенной силой метать стрелы сатиры в ненавистных отщепенцев...»

Вот что такое соловецкий, а впоследствии, уже при содействии воспитателей, по всей «империи ГУЛАГА,а» лагерный «ударник» — сгон заключенных на какую-нибудь внеочередную работу, и обязательно в редкие дни отдыха или после основной, когда каждый мечтает поскорее завалиться на нары. В меру возможностей, ловкости, блата, нахальства и храбрости всяк старается улизнуть от ударника. Услышанный приказ: «На ударник!» воспринимается с таким же чувством, как «с вёщами на этап!». Ударники воспитывают отвращение ко всякому лагерному труду, особенно у интеллигентов, тем или иным путем избежавших физических работ в лагере. К сожалению, лишь у Ширяева, а, главным образом у Зайцева, приводятся факты об ударниках, как о наиболее ненавистной форме изматывания физических сил.

У Клингера нашлись лишь две общих фразы об ударниках (стр. 170):

«Периодически устраиваются разные «ударники» и «субботники», чтобы пустить пыль в глаза Дзержинскому и Бокийему: — Вот, мол, как мы работаем! Весь лагерь, в том числе и писцы, сгоняются на рубку и сплав леса, уборку сена, разработку торфа, постройку очередного ненужного завода».

Эта информация ценна тем, что доказывает существование «ударников» чуть ли не с первых дней концлагеря, так как Клингер содержался на острове с августа 1922 года.

Ширяев (стр. 290, 291) вспоминает позднюю осень, оче-

видно 1925 года, когда в соловецкой бухте вмерз ледокол старой системы, направленный в Архангельск.

«Нужно было пропилить путь в полтора-два километра, чтобы ледокол смог дальше с разгону сам пробивать себе дорогу. Благодаря хорошей организации работ, порученной морякам под общим начальством морского офицера Вонлярлярского (быв. командира броненосца «Марат» М. Р.), работа была выполнена быстро и четко, без неразберихи, суетлики, ругани и избиений, неизменно сопровождавших администрирование грузино-меньшевистской рабсилы».

Генерал Зайцев, сам неоднократно страдавший от ударников, описывает их в особой главе «Частые ударники — вытягивание последних сил...» (стр. 90, 132-138). В первой части главы он рассказывает, как выгоняли на ударники по вытаске бревен из леса к местам сплава, о самой тяжелой, утомительной и изнурительной работе, когда 10-12 человек, ухватившись за канаты под заунывный голос дирижера-запевали — раз, два — взяли! — тянут по снегу бревно, иногда дальше, чем за километр. Одеды плохо, мерзнут, обмораживаются. Согреться негде, разводить костры нельзя... В конце работы не остается силы даже сдвинуть бревно с места, не только что тащить. Начинается ругань, угрозы десятников и надзирателей. На головы наиболее строптивых и крикливых арестантов посыпались удары дрыном... «Много было ночей, когда вместо отдыха гнали на ударные работы: на выноску дров к жел. дороге, на погрузку лесом пароходов (лагерных. М. Р.), на сенокос, на переноску камней, кирпичей, торфа и на прочие бесчисленные ударники».

Вторую часть главы Зайцев отвел ударникам по разгрузке двух застрявших во льду с продовольствием для Соловков ледоколов: «Малыгина» и другого поменьше:

«Стоял суровый декабрь 1925 года. Кремль был поголовно мобилизован на ударники. Гнали всех: слабосильных, больных, хромых, полуголых; босым выдали лапти и портянки из мешков. В полукилометре от ледоколов под снегом оказалась вода... Выгруженные мешки с продовольствием арестанты носили на себе на остров, шествуя по глубокому снегу, пропитанному водой... Я был одет гораздо лучше многих: в меховой шубе, в теплой папахе, на руках варежки, на ногах новые валенки. И все же в ту ночь я поморозил себе пальцы на ногах и на правой руке... Руки и ноги мои распухли, но оставаясь в кремле, меня снова погнали бы на ударник. Спасаясь от него, я удрал в лесничество (в 3 кил. от кремля. М. Р.), где работал... Выгрузка шла непрерывно двое суток. Многие поморозились, простудились. Ночью в буран шпана в лохмотьях отбегала

в сторону, где не было воды под снегом, и располагалась группами на льду по 4-5 человек, плотно прижавшись друг к другу. Мягерь хоронила их, покрывая сугробами снега...Выгрузка ледоколов надолго останется в памяти соловчан, даже тех, кто сохранил при ней здоровье».

Дальше Зайцев подробно повествует, как в ту же зиму вмерзла перед островом лагерная баржа «Клара Цеткин». Начальство порешило провести ее в сухой соловецкий док для ремонта.

«Две недели арестанты делали для баржи канал во льду, простуживаясь, обмораживаясь и приближая конец своей земной жизни».

После того, что описал тут Зайцев о ледоколах и канале для баржи можно законно подозревать, что в лучшем случае у Ширяева в памяти «смешались в кучу кони, люди» и он все события, сухо но верно изложенные Зайцевым, через свой литературный фокус изобразил так, как только что приведено в начале. Для большей ясности о соловецких ударниках позавимствуем у Зайцева еще несколько фраз и тем закончим главу о них:

1. «Напоминаю, что эти работы были сверх нормы повседневного труда».
2. «Я привел лишь типичные ударники из числа многих, бывших в мое время чуть ли не каждый день».
3. «Ударники применяются для самых разнообразных работ, от рубки капусты для засола, до спуска на воду пароходов после ремонта».
4. «Часто бывает, что арестантов с одного ударника без передышки назначают на другой. Со мной так было много раз. Например, возвращаясь однажды в роту с ударника по выгрузке кулей с рожью, наткнулся на нарядчика и тот, не взирая на мои доводы, присоединил меня к группе, собранной расчищать место для катка. «Ничего, товарищ, — успокаивал меня нарядчик, — не умрете. Становитесь в ряд без разговоров». Пришлось снова итти...»

---

## Глава 6

### КРЕМЛЕВСКИЕ РОТЫ

Напомним забывшим: Соловки до лета 1929 года были центром Соловецких концлагерей. Управление ими, вначале занимавшее один из монашеских корпусов в кремле (там же

в начале «ютился» с семьей и первый владыка острова Ногтев), вскоре — в 1924 году — перебралось в бывшую Преображенскую гостиницу для важных и богатых богомольцев на северном берегу бухты Благополучия. Тут в двух верхних этажах разместились все отделы Управления (а кое-кто из вольного начальства и проживал там, пока для него готовили квартиры). Нижний этаж, его левая сторона считая от северного входа, вся была занята ИСО - ИСЧ: его цензорами, следователями и камерами для подсудимых, а правая — розмагом, типографией и кладовками для особо ценного имущества.

Весною 1929 г. Управление СЛОН,а перебралось в Кемь, а с зимы 1930 - 31 года переименовало свою вывеску на УСИК-МИТЛ — на Управление Соловецкими и Карело-Мурманскими исправтрудолагерями. Но по-прежнему на его продукции, главным образом на рыбных консервах, красовалась старая торговая марка «фирмы» — слон.

За годы пребывания Управления на острове, СЛОН состоял из шести отделений. Кремль со всеми ближайшими службами и предприятиями за его стенами, а таких было больше десятка, назывался Первым отделением. С 1929 года все шесть отделений на архипелаге переименовали в пункты Четвертого соловецкого отделения УСЛОН,а с 1933 г. — в лагпункты Третьего отделения Белбалтлага, а с лета 1937 года и до ликвидации лагеря в зиму 1939 - 1940 года — в Соловецкую Тюрьму Особого Назначения — «СТОН»... \*)

Теперь, освежив память читателя, перейдем к теме данной главы.

С 1923 по 1933 год самый кремль, как первое отделение, а впоследствии лагпункт состоял из пятнадцати номерных рот внутри кремля и двух неномерных за его стенами. Из этих двух самой ранней и многочисленной была сводная или сельскохозяйственная рота (она же и пятнадцатая, поскольку половина ее состава проживала внутри кремля в разных ро-

---

\*) Вполне возможно, что после отправки в конце 1939 г. в Норильлаг последних этапов с острова, на нем до весны 1940 г. все же пришлось оставить небольшой контингент заключенных для обслуживания скотных дворов, звероводческой фермы, овощных складов и т. п. Вот почему Богуславский в книге от 1966 г. ОСТРОВА СОЛОВЕЦКИЕ не раз напоминает, что СЛОН там находился в 1923-1940 гг. Доставленных на Соловки полуживыми в конце 1933 г. около 300 украинков по обвинению в людоедстве, в конце 1938 и в 1939 годах вывезли на материк. Часть их оставили работать в лагерьном Швейпроме на Вегеракше.

тах), а вторая, в конце 1927 г. занимавшая ряд стандартных рубленых барачных бараков на юг от кремля, за кладбищем и церковью при нем, называлась Рабочим городком. В ней размещались переселенные из кремлевских рот железнодорожники, электрики, водники, занятые на лесопильном и механическом заводах, вообще мастеровые и рабочие морской лесобиржи. Там летом 1932 года жил и автор этих заметок.

Сейчас довольно рискованно без ошибок описать каждую роту, так как с годами их назначение, численность, состав, а заодно и режим в них подвергались изменениям. Попробуем все же, пользуясь материалами летописцев Ширяева (стр. 43, 44), Зайцева (стр. 70, 71), Никонова (стр. 108 - 110) и Киселева (стр. 107 - 110). Зайцев и Никонов оставили даже схему кремля с обозначением, где, и какая рота помещалась в их годы.

В первых трех ротах — после того, как «трудовой пролетариат» из них сначала переселили в другие роты, а потом в Рабочий городок — разместили верхи «лагерной пирамиды», т. е. наиболее ценных специалистов и администраторов из заключенных. По Никонову в 1928 - 1930 годах в первой роте жили заведующие разными предприятиями и их помощники и старостат, во второй роте — специалисты и лица свободных профессий, используемые по специальности и только в третьей роте — когда-то вольные чекисты и работники судебно-следственных органов, милиции, угрозыска, используемые теперь на Соловках на особо важных постах: в ИСО-ИСЧ, цензуре, УРО, комендатуре, адм.отделе. Такой же в основном состав сохранялся в этих ротах и при Розанове, т. е. в 1931, 1932 гг. Зайцев всякого заключенного на мало-мальски заметной должности, а в данном случае всех, кто помещался в этих первых трех ротах, честит чекистами. Конечно, по сравнению с 11, 12, 13 и 14 ротами, тут в 1, 2 и 3, да и в 9-й тоже, жили куда лучше: в светлых, теплых кельях по 2-4-6 человек, спали на монашеских койках или топчанах, питались в особой столовой или получали денежный или сухой паек; не утруждались поверками, и вход в эти роты шпане был заказан под страхом карцера, так что ни воров, ни буянов там опасаться не приходилось. Численность людей в каждой из этих рот, как и в некоторых других, оговоренных ниже, не превышала 100 - 150 человек.

В четвертой роте жили музыканты, часть артистов и подсобный персонал театра, а в пятой — пожарники, видно из тех, что родились в рубашках. Им все мы завидовали.

В шестой роте с конца 1925 года сконцентрировано духовенство. Официально рота называлась сторожевой по роду

работы большинства духовенства. Тут численность временами доходила до нескольких сотен людей, т. к. кроме духовенства сюда вселяли и других заключенных, даже уголовников, но последние здесь оказывались в меньшинстве и соответственно вели себя. Скученности, однако, не наблюдалось. Келий в этой роте было больше, чем в других. Размещалась она поблизости от музея в юго-западном углу кремля.

Седьмую роту заселили средним и нисшим персоналом лазарета и санчасти и вообще «санугодных» заведений: банщиками, парикмахерами, дезинфекторами-клопоистребителями и т. п. Тут тоже под нарами не спали и зимой на холод не жаловались. Вряд ли когда в этой роте числилось больше, чем 150 человек. Особым мирком здесь жили артисты и музыканты. Ротным у них был быв. офицер балтиец Кунст.

В восьмой роте всегда было скученно и шумно. Ее выстраивали и на развод, и на проверки. Отсюда высылали на всякие грязные и хозяйственные работы шпану «на подозрении», т. е. уголовников, еще не пойманных на кражах, за картами и не замеченных в дерзостном отношении к начальству. Отсюда всегда были большие шансы попасть в карцер при одиннадцатой роте, а то и на Секирку. «Жилплощадь» здесь хотя и была переплотнена, но из-за малого размера роты, численность в ней редко превышала 200 - 250 человек.

Рядом с восьмой, шпанской ротой, размещалась полувельможная девятая. Хотя Киселев и Зайцев с Никоновым ее жильцов называют чекистами, но, думается, не совсем обоснованно. Эту роту населяли заключенные с правом занимать мелкие посты в таких лагерных отделах управления, куда каэрам, как правило, доступ был закрыт. Состав третьей и девятой рот в общем был одинаков, лишь в последней в моральном смысле он был ниже из-за преобладания в ней хозяйственной и партийной мелкоты, осужденной за служебные преступления. Условия жизни в девятой роте считались завидными, а почему и каковы они, поясняет Киселев (стр. 161):

«Все они получают денежный паек до 30 рублей в месяц (против установленного в 9 руб. 23 коп. Очевидно, и тут Киселев перемахнул через границы правды, включив в паек и денежное вознаграждение за службу. М. Р.), имеют отдельную кухню, одной из кухарок — княжну Гагарину, уборщиков, и открыто водят каэрок в комнаты и там уже делают с ними, что хотят... По вечерам катаются на лодке, при чем гребут для них простые заключенные. Руками последних для них создана постоянная спортивная площадка, а зимой устраиваются ледяные горки и каток. Они играют в футбол, ходят каждый день в театр, слушают музыку...»

Как уже раньше отмечалось, спортом могли пользоваться все заключенные, у кого к этому была охота, а, главное, — время и калории.

О десятой роте писалось уже не раз и не два. Счетно-канцелярская. До 500 - 600 человек было в ней осенью 1925 года (при Седерхольме), а после осталось вдвое меньше. Многих отправили на ту же работу на новые командировки на материке и на острове, других, более ценных и с блатом, перевели в лучшие первую и вторую роты.

Описывалась в первой книге и одиннадцатая рота с карцером при ней. Тут преобладала шпана, висел густой мат, шла картежная игра, сводились личные счета. О топчанах или вагонках даже не мечтали; было бы хотя место на нарах на любом ярусе. На ночь вносили «парашу» и рота запиралась. По утрам почти вся рота, исключая карцерных при ней и почти голых по разным причинам, была «в расходе»: выгонялась на лесобиржу, лесозавод, баню, вообще на всякие работы, где не требовалось ни смекалки, ни опыта и нечего было украсть.

В таком же, примерно, положении оставались и заключенные, застрявшие после карантина в двенадцатой роте общих работ. Тринадцатая карантинная, зимой не получавшая пополнений с материка, почти пустовала, зато двенадцатая, наоборот, кишела зимой и летом, являясь поставщиком любого количества рабочих рук для всякого наряда: в сельхоз, на торф, кирпичному заводу, на подвозку дров в кремль, на всякие авральные работы, вроде разгрузки застрявших во льду пароходов, на вытаску бревен из леса в районе кремля и т. д. Так велось до 1930 года, когда был готов «карантинный городок» и приспела «оттепель».

Четырнадцатая рота, иначе — «запретная» — размещалась вдоль южной стены кремля по соседству с кремлевской баней. Зимой запретников еще выпускают на работу за кремлевские стены, но с открытием навигации их держат внутри кремля и ночью под замком. Состав ее колебался от ста до 300 человек.

Четыре роты — с одиннадцатой по «запретную» — это, по Никонову, самое «дно» Соловков, откуда каждый стремится вырваться на любую работу (но не в лес!). С 1924 по 1929 год население этих рот (кроме «запретной») содержалось в наскоро приспособленных, частично пострадавших от пожаров Преображенском, Николаевском и Успенском соборах, но не всегда сразу в трех. Сырость, холод, темень, разбитые окна, трехярусные с 1926 года нары если не отнимали совсем жизнь у застрявшего здесь, то выпущенный оттуда все же оставлял там заметную часть своего здоровья. Для этого «дна» сам со-

бою возник и долго «процветал», распространяя вонь на весь кремль, известный «санузел», именуемый всеми центросортиром по соседству с центрорухней и собором (Клингер, стр. 166).

В сентябре 1925 года в этих трех ротах насчитывалось 850 заключенных (Седрхольм, стр. 284), а в 1928 и 1929 годах в отдельные летние месяцы даже по несколько тысяч.

«Через эти роты — пишет Ширяев (стр. 44, 45) — проходили все вновь прибывшие и многие застревали в них. Смертность здесь превышала 50 процентов... Счастливы после долгих мытарств попадали, наконец, на отдельные командировки. Там, вдали от начальства жилось вольнее», если, добавлю я, «вдали» не оказывалось царьков типа Потапова или Селецкого.

Все только что описанное о «дне», отвечало действительности тех лет — 1923 до 1929 гг. Позже, когда на остров в 1931 году привезли Розанова и Витковского, а потом, в 1933 году Пидгайного и вторично Андреева, этих 11-й, 12-й и 13-й рот в сборах уже не было. Во-первых, как поясняет Зайцев (стр. 81 и 82), «в 1926 и 1927 годах ОГПУ развило интенсивное строительство на острове... большими группами строились стандартные тюремные казармы»; а во-вторых — начался массовый вывоз соловчан на материковые командировки УСЛОН, а в новые лагеря.

«Оттепель» придала лагерям ряд функций, схожих с советскими промышленными организациями. И. Л. Солоневич совершенно прав, когда писал о Белбалтлаге 1931 - 1932 гг. (стр. 46):

«Лагерь — все-таки хозяйственная организация, и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован... Сейчас (эти свежие гурты. М. Р.) оставляют на две недели в карантине, постепенно втягивая их в работу, и в то голодное лагерное питание, которое мужику (в эти годы. М. Р.) не было доступно, и которое является лукулловым пиршеством с точки зрения провинциального тюремного пайка... В 1930 и 1931 годах этапного мужика, обессилившего после тюремного пайка, на канале сразу посылали на работы и он погибал десятками тысяч. Санчасть ББК догадалась поставить таких на «усиленное» питание, но отошавшие желудки не в состоянии были переварить нормальную пищу, и мужики продолжали гибнуть».

Странно, что хотя только в самом кремле за пятнадцать лет сменилось не менее пятидесяти ротных и пятидесяти нарядчиков («...самые неприятные типы на соловецкой каторге» — так аттестует нарядчиков Зайцев) в летописях очень редко приводятся фамилии этих лиц, тогда как от них в первую очередь часто зависела жизнь и судьба соловчан. Что это

именно так, прочтите как их описывает Зайцев (стр. 55):

«Ротным нашей 12-й роты общих работ для первоначального устрашения нас (в 1925 г.) назначили самого отъявленного мерзавца, жесточайшего садиста и само собой чекиста Воронова. Этот тип надолго останется в памяти у всех соловчан 1925 - 1927 гг... Он сослан на 10 лет за злодеяния чекистского пошиба или, по их лексикону, «за перегиб чекистской линии».

Обвинение, что и говорить, тяжкое, но абсолютно ни одним фактом не подтвержденное Зайцевым. Для историков оно останется голословным. А вот как описывает другого ротного Никонов (стр. 115):

«Ротный карантинной роты Чернявский (растрелян весной 1930 года. М. Р.), ни на кого не глядя, пробежал по проходу и остановился у окна в соборе... «Дежурному отвечайте дружным «здра», — поучал он наш летний этап 1928 года: — иначе вас кое с чем познакомим. После проверки пойдете на ночную работу...Что?! Что?! Я из вас повыгоню сон! Тут не курорт. Распустили вас в тюрьмах. Ваша жизнь кончена. Запомните: вам нет возврата!» — и выбежал».

Один из украинцев в брошюре Чикаленко, а из нее в писаниях Пидгайного, свидетельствует:

«Ротный 12-й роты московский чекист Платонов (в 1928 или в 1929 году, очевидно, сменивший Воронова) за провинности сажал в «каменные мешки», поделанные в кельях (!?М. Р.), запирали на замок, уходил пьянствовать и забывал о карцерных. А когда вспоминал через несколько дней, то в «мешках» живых оставалось уже мало: мерли в них от голода и холода. Не одну тысячу (!... М. Р.) передушил Платонов в своих «мешках».

«Каменные мешки», как известно, находились только внутри кремлевских стен и башен. Очень мало правдоподобного, будто Платонов со связкой ключей запирали сотни наказанных в эти малочисленные, едва ли больше двух десятков, «мешки». К тому же они были устроены на значительном расстоянии один от другого. В кельях никаких «мешков» или чуланов не было. По монастырским правилам не только есть, но даже держать продукты в кельях запрещалось.

Ротного сводной (сельско-хозяйственной или пятнадцатой роты, что одно и то же) князя Оболенского Никонов (стр. 113) характеризует таким уже приводившимся примером: «Почему вы не острижены? — обратился Оболенский к епископу-счетоводу сельхоза. — Вам было объявлено о «самостоятельной санобработке». Почему не исполнили распоряжения?» Владыка молчал. — «Что тут рассусоливать! — ска-

зал стрелок: — Парикмахер, стриги!» — приказал он китайцу».

Дело это было под осень 1929 года. Начиналась тифозная эпидемия. Поставьте тут вместо князя Оболенского — Воронова, Чернявского, Платонова, не говоря уж о таких начальниках, как «Ванька Потапов» или «Шурка Новиков», и сами себе ответьте, как бы они поступили с епископом. \*)

Киселев (стр. 107-110) называет командиром 14-й «запретной» роты Сахарова, Владимира Алексеевича, бывшего офицера. Но в описании состава и режима в этой роте он, по обыкновению, столько понаврал, что не только передавать, но и читать тошно, при чем в частности, понасажал в эту роту и священников.

В 11-й роте и в карцере при ней, по словам Киселева, какой-то отрезок времени между 1927 и 1930 годами ротным состоял некий Воинов, «всегда с плетью, висевшей у него на поясе». Про плеть у ротных или конвоиров кроме Киселева упоминает еще Клиnger (про 1923 - 1924 гг.), да Солженицын, описывая Волкового в Особлагах начала пятидесятых годов. Больше никто про плети не упоминает и за одиннадцать лет в разных лагерях я не видал и не слышал про плетки у начальства.

Вот еще яркая личность на соловецком небосклоне первых лет офицер Тельнов, ротный, командир полка и староста на острове и в Кемперпункте, но он заслужил особую главу — «НАШ ВАНЬКА»...

Кажется, все...нет, припомнил еще одного. Ожидая парохода в Америку осенью 1949 года в Бремерсгафене среди сотен ди-пи, тоже «чающих движения воды», повстречал соловчанина. Он и не скрывал, что был ротным на острове, сказал и фамилию, и роту, да забылись. Видно, там не потерял совесть, но где-то позже потерял ногу, не думаю, чтобы при атаке с ревом «За Родину! За Сталина!»...

---

\*) Солженицын пишет (стр. 50): «Как-то вспыхнула в Кеми эпидемия тифа (год 1928), и 60 проц. вымерло там, но перекинулся тиф и на Большой Соловецкий остров, здесь в нетопленном «театральном» зале валялись сотни тифозников одновременно... А в 1929 г., когда многими тысячами пригнали «басмачей» — они привезли с собой такую эпидемию, что черные бляшки образовывались на теле и неизбежно человек умирал». Не знаю, не слышал и не читал, был ли тиф в Кеми в 1928 г., но знаю, что на Соловецком острове его тогда не было и все летописцы вспоминают только две тифозных эпидемии в зимы 1926-27 и 1929-30 годов.

## Глава 7

### ИХ ЕЩЕ НЕ ЗАБЫЛИ

#### 1. ЛИЦЕИСТЫ

В зиму 1924 - 25 года в Ленинграде ГПУ состряпало «Дело лицейстов», по которому осуждены были не только бывшие лицейсты, но и те, которых они навещали. Бессонов (стр. 152) в те дни ожидал на Шпалерке приговора. Вызванный в кабинет своего следователя Ланге, он потом вспоминает:

«Весь большой письменный стол моего следователя Ланге, видно, получившего повышение, а с ним и более комфортабельный кабинет, был завален бумагами и книгами. На одной из них я прочел: История Императорского Александровского лицея. Как я потом узнал, он, Ланге, вел дело лицейстов, из коих 50 человек было расстреляно и многие сосланы на Соловки и в другие места».

Клинггер (стр. 197) называет число расстрелянных лицейстов в 54 человека и около 50 заключенных в Соловки на срок от 2 до 10 лет. Полнее и ближе всех к правде о лицейстах я нахожу рассказ Седерхольма, в те дни содержавшего под следствием на Шпалерке. Он пишет (стр. 250):

«Обстоятельства «Дела лицейстов» были таковы. Несколько прежних воспитанников лицея собрались, чтобы оформить ликвидацию несуществующих больше фондов лицейстов. Собрание совпало с годовщиной убийства императора и его семьи (17 июля 1918 г.). Некоторые старые лицейсты решили отметить память бывшего правителя панихидой по его душе, — действительно глупый и опрометчивый поступок в Советской России, хотя вполне понятный. (Отрадин слышал на Соловках от лицейстов, что на панихиде присутствовало 25-30 чел. М. Р. \*). Панихида и послужила предлогом для ареста не только всех без исключения лицейстов, но и родственников их и знакомых. На этом инциденте ГПУ состряпало «Монархический заговор». Только в моей камере оказалось четверо из этого «заговора» общим возрастом 322 года».

Дальше из его рассказа следует, что ими были: Князь Николай Дмитриевич Голицын (1850 - 1925 гг. по БСЭ), последний председатель Совета министров. Из-за паралича в тюрьме; его вывели на расстрел из камеры, поддерживая под руки.

---

\*) См. НРС от 22 июля 1973 г. с его статьей о лицейстах.

Последними словами князя в камере были: «Я устал от жизни. Слава Богу!»

«Князь Голицын, по словам Седерхольма, до последней минуты сохранил хорошую память и выдержку, но его два однодельца — генерал Шильдер и помещик Тоур, находились на грани помешательства. Генерал Шильдер умер за неделю до расстрела князя, а Тоур, получивший 10 лет Соловков, умер по дороге в концлагерь от воспаления мочевого пузыря. О его смерти мне передавали студенты-соэаппники, которых я встретил потом в Соловках».

Сын Голицына содержался в другой камере и расстрела избежал. Андреев повстречал его на Соловках в 1927 году и кратко отметил в очерке (стр. 43):

«...Унылого вида человек в солдатской шинели, висевшей на нем, как на вешалке, в прошлом — один из князей Голицыных, повел нас, новичков, в Преображенский собор, превращенный в заповедник. Под его руководством мы наводили порядок: переносили изъеденные временем гробы с останками, передвигали громоздкую колесницу, оставленную в Соловках Петром Великим, носили в музей ржавые пищали, кольчуги, секиры».

Четвертым по делу лицейстов Седерхольм называет (на стр. 259) своего большого друга барона Шильдера, капитана артиллерии, племянника умершего в его камере генерала Шильдера, и добавляет: «Хотя он и не был лицейстом, но, посещая дядю, не дал «им» информацию» (т. е. не донес). Дальше в тексте, уже на стр. 290, 322 и 325 Седерхольм припоминает еще двух по этому делу: расстрелянного весной 1925 г. барона Гривеница, прежде чудом спасшегося при расстрелах в Холмогорах, но снова арестованного в 1924 году (он был полковником финляндского гвардейского полка), и встреченного им на острове Аркадия Петровича Веймара, начальника одного из департаментов министерства иностранных дел, хотя он в лицее тоже не учился. «Веймар нес свой тяжелый рок с редким мужеством и благородством» — подчеркивает Седерхольм.

Описывая панихиду по царю в соловецкой лесной глуши для небольшой группы офицеров, Ширяев добавляет (стр. 351, 352):

«Всего за месяц до этого на Соловки прибыла значительная по числу группа бывших царскосельских лицейстов. Они были сосланы на большие сроки именно за такую же панихиду в Петрограде. Шесть или семь инициаторов поминовения были расстреляны».

Какая же из цифр расстрелянных вернее: 50, 54 или 6-7? Кого бы в первую очередь расстреляли чекисты? Думается,

что священника, согласившегося и отслужившего панихиду. Им был отец Николай Лозино-Лозинский, хорошо известный сотням соловчан 1925 - 1927 годов. Вот как его описывает Андреев (стр. 48):

«Один из выдающих нам посылки — отец Николай. Он так воздушно-светел, так легко добр, что кажется воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать. Он и в Соловки приехал по своей доброте, потому что не мог отказать в просьбе друзей-лицеистов отслужить панихиду».

Ширяев так обрисовывает отца Николая (стр. 303):

«Лозино-Лозинский, бывший лицеист ставший священником, изящный, утонченный, более напоминающий изысканного аббата восемнадцатого века, чем русского семинариста».

Этот батюшка в сентябре 1925 года был счетоводом ларька в часовне Германа в кремле, но в конце месяца без объяснения причин, его сняли и определили чистить управленческие уборные в быв. гостинице у пристани. Седерхольм в те дни сторожил этот ларек, от него и узнали об этом на стр. 310 и 313.

Кого же еще по «Делу лицеистов» упоминают летописцы, не считая шести имен, приведенных Седерхольмом?

Клинггер (стр. 197) перечисляет: еще одного брата Шильдера, Михневича, барона Остен-Сакена, Арнольди и других. К лицеистам он отнес и ковбоя «Дягтирева, сына небезизвестного музыканта»... Ширяев (стр. 304) добавляет к перечисленным барона Штромберга, «талантливого пианиста, ученика Сен-Санса», и Кондратьева, сенатского чиновника, в душе артиста, исполнявшего на соловецкой сцене роль царя Федора Ивановича по пьесе А. Толстого. К лицеистам — поясняет он — относились не только бывшие питомцы лицея, но и правоведа и просто сенатские чиновники. Эта группа была наиболее яркой, имела свое определенное лицо, свои культурные традиции.

Никонов (стр. 26) в 1931 г. повстречал на Беломорканале старого соловчанина-лицеиста Петю Журавлева. Вот и все имена лицеистов приведенные соловчанами.

Все же считаю необходимым пролить свет на другую сторону «Дела лицеистов», ушедшую от внимания летописцев.

Отрадин в статье в НРС от 22 июля 1973 г. вносит поправку в воспоминание колымчанина Шаламова «БУКИНИСТ», напечатанное в НОВОМ ЖУРНАЛЕ номер 110. Ленинградский чекист, оказавшийся на Колыме, похвалялся Шаламову, будто он «прикасался к папкам дела Гумилева», назвав его «заговором лицеистов». Кому-то из них обоим изменила память: Шаламову или чекисту. Отрадин отрицает всякую связь меж-

ду делом Гумилева и лицейстами, основываясь на том, бесспорном, известном факте, что Гумилева расстреляли в 1921 году, когда и концлагеря-то на Соловках еще не было, а лицейстов стали арестовывать много позже — в конце лета 1924 года.

Чекист же, с которым Шаламов был на курсах лагерных фельдшеров — лепил, выведенный им под фамилией Флеминга за то, что знал — и почему знал — имя открывшего пенициллин — на самом деле был следователь Ланге по делу летописца Бессонова и по делу лицейстов. Его «замели» на Колыму в 1935 году после убийства Кирова и чистки ленинградского ГПУ. И если Ланге вспоминает Гумилева, то, значит, и в этом деле его руки в крови.

## 2. ХУДОЖНИК И. И. БРАЗ

Иосиф Иммануилович Браз доставлен на Соловки летом 1924 года. О нем наиболее достоверную запись находим у Седерхольма (стр. 292):

«Вступив на соловецкий берег (осенью 1925 г. М. Р.), мое внимание привлекли по виду голодные, измученные, оборванные заключенные, работавшие на пристани. Оказавшись ближе, я нашел среди них знакомых, которых видел год назад в Петроградской тюрьме, некоторые из них сидели даже в одной камере со мною...Среди сходящих с баржи с ящиками груза, едва держась на ногах, был художник профессор Браз, бывший вице-президент Императорской Академии Художеств. Я был с ним в августе 1924 г. в Шпалерной тюрьме (для следственных ГПУ). Браз находился на острове уже больше года. Его (после неизбежного карантина. М. Р.) поместили в особую роту, поручив работу, связанную с архитектурой. За два месяца до моей встречи с ним на пристани, кто-то и что-то донес на БрАЗа, и его направили на тяжелые штрафные работы в порту. Теперь ( в октябре 1925 г.) он «помилован» и помещен со мной в 10-ю конторскую роту. Ежедневно старого заслуженного профессора посылали делать зарисовки соловецкого лагеря, в частности сцены из жизни заключенных и наброски видов исторических церквей и монастыря. \*) Тяжело переживая свое положение «придворного художника», Браз вынужден был

---

\*) Они сохранялись в соловецком музее в отделе «старого монастырского и нового советского (читай: концлагерного) быта», о чем есть упоминание в протоколах Соловецкого общества краеведения.

подчиняться инструкциям Васькова, Ногтева и другого начальства, изображая Соловки «потемкинской деревней». Его зарисовки предназначались для советских изданий, пропагандирующих райскую жизнь в лагерях и тюрьмах СССР. Поэтому, кроме Браз, на Соловках был и «придворный фотограф», но из чекистов (при «коммерческой фотографии». М. Р.).

В другом месте (стр. 324), возвращаясь снова к Бразу, Седерхольм добавляет:

«Его отправили на Соловки по подозрению в шпионаже потому, что он посещал германского генерального консула в Петрограде. Полтора года Браз не получал известий от своей семьи в Германии, и только перед самой отправкой на Соловки получил письмо от старой прислуги о том, что семья его в Германии бедствует и что оба сына умерли в Берлине».

К этой довольно обширной по соловецким возможностям биографии Браз Ширяев добавляет (стр. 121 и 131):

«Прекрасные иллюстрации, главным образом зарисовки старых Соловков, давал художник Браз, получивший срок за протест против расхищения сокровищ Эрмитажа, в котором он заведывал одним из отделов. В читальном зале при соловецкой библиотеке слушали его доклад об Эрмитаже». (Добавим: а в СОК,е 23 октября 1925 г. Браз докладывал о голландских колоколах в лагерном музее, о чем упоминается в протоколе СОК,а. М. Р.).

Дадим теперь слово и вольным советским искусствоведам о Бразе, как оно появлялось в Больших Советских энциклопедиях. В первом издании, в шестом томе от 1927 года напечатано:

«После окончания Одесской школы рисования, учился живописи в Мюнхене, Берлине и в Голландии. С 1895 г. И.И. Браз в Академии Художеств в классе И. Е. Репина. Был видным участником «Мира искусства», экспонировал также свои произведения на выставках «36 художников» и «Союза». Автор строгих и продуманных пейзажей, интерьеров и сдержанно реалистических портретов, из которых лучшие: А. П. Чехова (1898 г., в Третьяковской галерии) \*), А. П. Соколова (академика, хранителя музея Академии Художеств с 1892 г., портрет его в Русском музее. М. Р.), С. В. Иванова (живописца, примыкавшего к передвижникам—ряд его картин в Третьяковской галерее, в Русском и провинциальных музеях. М. Р.). С 1918

---

\*) В дневнике А. П. Чехова от 13 июля 1897 года помечено: «Меня пишет художник Браз (для Третьяковской галереи. Позирую по два раза в день)».

г. Браз меняет манеру письма, выступив с рядом колористически насыщенных натюрмортов и портретов, среди которых особо значителен «Автопортрет» и портрет К. А. Соколова.

Во втором издании БСЭ (том шестой, от 1951 г.) дана уже второе урезанная заметка о Бразе, из которой узнаем, что:

«В двадцатых годах Браз эмигрировал за границу, где писал преимущественно пейзажи и натюрморты, не создав ничего значительного. Умер в 1936 г. (т. е. в возрасте 64 лет. М. Р.).

В третьем издании БСЭ Браз вообще не упомянут. Так проходит земная слава... Наши эмигрантские газеты тех лет, конечно, писали о Бразе. Хорошо бы напомнить читателям, что сам-то он здесь рассказывал о себе. А живут тут еще и такие художники, которые помнят Браза и, может быть, встречались с ним. Вот им и перо в руки дополнить мою, более чем скромную информацию об одном из первых соловчан. Не думаю, что он был упрятан в Соловки «за протест против расхищения сокровищ Эрмитажа» или «за шпионаж германскому консулу». Обвиненных в этом, да еще после Соловков, за границу едва ли бы выпустили. Вернее, что мучимый положением семьи в Германии, для поддержки ее просил или упросил консула переслать ей несколько своих картин. За это тоже могли упрятать в Соловки.

### 3. КОВБОЙ НА КОЗЛЕ

Много фамилий и профессий понадавали летописцы ковбою Дегтяреву, так что под приводимыми ниже это все он, ковбой.

«Вдруг въезжает через кремлевские ворота какой-то лихой человек верхом на козле, держится со значением и никто не смеется над ним, — читаем у Солженицына (стр. 36): — Это кто же? почему на козле? Дегтярев, он в прошлом — ковбой, потребовал себе лошадь, но лошадей на Соловках мало, так дали ему козла... Он заведует Дендрологическим питомником. Они выращивают экзотические деревья. Так с этого всадника на козле начинается соловецкая фантазия».

«Верхом на козле» — это, в самом деле, одна из фантазий о Соловках... Прочтем же сразу, что писал о нем Андреев (стр. 48):

«...Впрочем, чудаковатые люди не редкость в Соловках. Вот Дронов, худое лицо с мелкими чертами, кривой, тонкий нос, под ним топорщатся щетинистые усы... У Дронова дикий, запущенный вид. Дик и взгляд его острых, косых глаз, в них постоянно огонек жгучего беспокойства. Наверно, только оно

гнало его по свету. Дронов знаком со всеми континентами...Из Техаса он и приехал в Соловки: будучи ковбоем, затосковал по России, приехал и — попал...в Соловки. Здесь он работает в питомнике километров за десять от кремля. Чтобы не носить на себе продукты, инструменты, он выпросил в сельхозе козла, обучил его, сделал ему маленькую тележку и теперь козел исправно служит Дронову. Они неразлучны. Их всегда видят вместе...Но кому мешают козел Дронова?»

Действительно, кому?... За что козлу такая немилость — возить на себе Дронова? Сама природа не подготовила козла к такому служению человеку. Опять подвели Солженицына «уцелевшие соловчане-очевидцы», а ведь он читал в Москве очерк Андреева в «Гранях», и даже фразу из главы о лесе приводит: «Андреев вспоминает: били по зубам — «Давай кубики, контра!», хотя о зубах Андреев, очевидно, забыл дописать... (Солженицын, стр. 66, Андреев, стр. 68). Но продолжим «соловецкую фантазию». Почитаем Ширияева (стр. 274):

«Один из самых экзотических соловчан — бывший обершталмейстер и начальник конюшен корейского императора, одноглазый колчаковец, выплеснутый из пределов родной земли и вернувшийся в Россию только потому, что незримые нити, связывающие его с нею, революция порвать не могла».

Одно время он, Дегтярев, жил в лесной землянке со сторожем огорода. Сторожил тщедушный «доктор блатных прав» — «Василек — святая душа», признанный соловецким уголовным миром третейским судьей в спорах между блатными. Этот «обершталмейстер» в описываемый Ширияевым отрезок времени—лето 1925 г. — приписан был к соловецкому биосаду, расположенному в 1-2 клм. на восток от кремля, по дороге на Муксальму. Дендрологический питомник за Филимоновом по Ребольдовской дороге на Анзер завели после, с 1927 или 1928 года. На Соловках хватало в Лесхозотделе и в Лесничестве ученых лесоводов и лесничих. Дегтярев был в питомнике и биосаде простым исправным рабочим (коли охота — зовите его каторжником). Уже при мне, в 1931 и 1932 годах дендрологическим питомником по совместительству заведывал мой прямой начальник прораб лесхоза лесничий Буланкин. При нем в питомнике продлжал работать Дегтярев, но уже без козла. Он не раз летом и осенью 1931 года, пока еще не была разобрана и увезена на ББК узкоколейка, в ее пассажирском вагончике был моим спутником до Филимоновской командировки. К совершенно верному портрету Дегтярева у Андреева я добавил бы, что он продолжал поддерживать внешность ковбоя: носил длинные кожаные перчатки и техаскую ковбойскую широкополую шляпу с ремешками для подвязки ее.

В интимные разговоры с ним, как и с другими соловчанам, я не вступал, что и помогло мне выжить в лагерях и пережить стукачей. Но знал, что за побег в соловецкий лес один ли, или вкупе с уже «чокнутым» Кожевниковым, Думбалзе и Шепчинским, по первой лагерной «параше» ему добавили три года срока, а по второй «параше» — тоже три года, но уже за то, что, будто бы, он сам просил Лубянку оставить его на Соловках, «где стало очень уютно».

Не отстают от Ширяева в красочной биографии ковбоя и два других летописца. Клиnger (стр. 197):

«Среди лицейстов был и Дегтярев, сын небезизвестного музыканта, по специальности агроном. Вернувшись на родину, снял под Петербургом участок земли под огород... Дело не клеилось. Решил уехать обратно в Америку и запросил друга о стоимости билета до ВК, т. е. до Вера-Круца в Мексике. Следствие расшифровало ВК как «великий князь» и вывезло Дегтярева на Соловки на 10 лет».

Никонов (стр. 169):

«Всматриваюсь в толпу (казарм, снятых из контор на общие и лесные работы в феврале 1929 г. М. Р.) и многих узнаю в ней. Вот слепой на один глаз ученый секретарь петербургского ботанического сада Дегтярев, скаутмастер Шепчинский, ходивший летом всегда с засученными рукавами и с непокрытой головой, толстолиц Александр Иванович Демин...»

Время, память, часто излишнее доверие к лагерным слухам отрицательно сказываются на достоверности передач соловецких событий летописцами. Читатель видит их словно в кривом зеркале. Польза от такого «метода» и для политики и для истории спорна.

Ковбой не исключение. Читайте дальше.

#### **4. МЕКСИКАНСКИЙ КОНСУЛ И УЧЕНЫЙ ХИРОМАНТ**

Расскажем еще о двух известных и необычных личностях в соловецком людском конгломерате, отмеченных летописцами. Из-за частой неувязки между повествованиями, передаем их содержание так, как оно, по нашему, более или менее отвечало бы истине.

##### **ГРАФ ВИОЛАРО**

Сначала о синьере графе Виоларо с женой, о ком вспоминают все первые летописцы: Ширяев (стр. 116, 117), Седерхольм (стр. 309 - 311), Клиnger (стр. 203), Мальсагов (стр. 139 - 141) и Зайцев (стр. 56).

Мексиканский, а, может, бразильский консул в Египте граф

Виоларо, молодой и богатый дипломат, женился по любви на красавице-эмигрантке грузинской княжне не то Коларовой, не то Чавчавадзе. Мать ее осталась в Тифлисе, а брат был белым офицером. Надеясь на дипломатический паспорт, получив законные визы, молодые навестили мать в Тифлисе и решили попутно, благо денег хватало, посмотреть красные столицы. Дело было весной или летом 1924 года, вскоре после восстания грузинских меньшевиков. В Петроградской Европейской гостинице их арестовали и, порядком продержав в Бутырьках, отправили на Соловки на три года, но не на пять, иначе их помнили бы летописцы 1927 - 29 годов Никонов и Андреев.

После неизбежного карантина, граф, видимо, не без помощи взятки, устроился жить в 10-й роте и сторожить кремлевский ларек. Вскоре он получил даже повышение и в уголочке за ларьком за своим прилавком продавал стаканами молоко лагерного сельхоза соловчанам. Княжна работала сначала в шовиной мастерской, потом в биосаде за кремлем. Благодаря щедрым переводам от брата-коммерсанта в Каире, Виолары могли позволить себе почти неограниченные расходы (до 60 фунтов стерлингов в месяц, т. е. до 500 червонных рублей, по Седерхольму) на продукты и одежду из ларьков и розмага не только для себя, но и для сокамерников по кельям.

Княжна, надо полагать, вскоре все же устроилась в одной из контор на более чистой работе. Свидание им, конечно, давали «по положению», а, наверно, с подмазкой и чаще. Театра они никогда не пропускали. Это в кремле единственное место, где безбоязненно можно сидеть с женой или сухаркой и гладить их руки, не обращая внимания на сидящее впереди чекистское начальство. Билеты Виоларо всегда покупал самые дорогие, хотя по-русски он понимал с пятого на десятое.

Вот так, должно быть, протекал их срок, вызывая зависть у многих соловчан. А что, будто бы, граф переписывался с Чичериным и Литвиновым (Клингер, Мальсагов), с трепетом выглядывая из своего молочного прилавка на княжну, ведомую с группой других соловчанок на общие работы (Седерхольм), что, освобожденный, наконец, от всяких работ, граф в белоснежном вытуженном костюме, в шляпе под тенью ели любитесь в биосаде женой, занятой по доброй воле уходом за гагачьим выводком (Ширяев) — все это описано отнюдь не для скептиков...

#### КРИВОШ-НЕМАНИЧ

Второй, не менее оригинальной фигурой на Соловках был серб, старик, перешагнувший на девятый десяток, В. И. Кривош-Неманич (или: по Мальсагову — Кривач-Ниманич, стр. 91,

а по Клинеру — чех Неманич). На Соловках он заведывал гидро-метеорологической станцией. О нем красочно рассказывает Ширяев (стр. 118, 119) и Андреев (стр. 87 - 89).

До революции Кривош-Неманич служил в шифровальном отделе министерства иностранных дел, тем же занимался в наркоминделе при большевиках и, спору нет, знал достаточно дипломатических тайн, но какую-то из них не удержал за щеками, за что и получил 10 лет Соловков.

В читальне при библиотеке он часто делал доклады на научно-популярные темы. Был к тому же редким полиглотом — знал десятки живых и мертвых языков.

«Но корень славы профессора крылся в ином — в его познаниях в хиромантии, к которой он не относился так предвзято, как большинство» —

пишет Ширяев. Наука это или нет, меня не спрашивайте. Но оба летописца заверяют, что их будущее Кривош-Неманич предсказал безошибочно: Андрееву — что будет жить очень долго, и что уже за углом для него «скорая и долгая дорога», о которой ему, на самом деле, сказали на другой день: «Поедете в Северные лагеря, собирайтесь с вещами». Ширяеву ученый хиромант предрек эмиграцию и жизнь в теплых странах, «о чем я — пишет Ширяев — не мог и мечтать на Соловках, но что, тем не менее, случилось со мною».

Вот только слухи по лагерю о том, будто бы, по Ширяеву, Кривош-Неманич за несколько месяцев вперед предсказал смерть от пули владыке острова Ногтеву, оказались «несколько преждевременными». Несмотря на свое многоязычие и талант в хиромантии, Кривош-Неманич был ловко одурачен шпаной на Кемперпункте в 1924 году. Шпана выкрала его посылку со склада и потребовала с него выкуп в шесть червонцев. Наивный старик поверил, отдал червонцы. Вместо посылки он услышал за перегородкой радостное ржание шпаны над этим «дядей Сараем», как называли на Сахалине разинь-просточков.

Все же, по свидетельству Андреева, Кривош-Неманич не сгинул в Соловках, а вскоре был вызван в Москву в ГПУ, как шифровальщик. Осталось неизвестным, успел или нет наш полиглот осилить на Соловках еще один язык — «ботать по фене»...

## **5. КОМАНДАРМ И. С. КОЖЕВНИКОВ**

Иннокентий Серафимович (1879-апрель 1931) — один из наиболее одиозных соловчан как по прошлой деятельности, так и по своему поведению на острове. Член партии большевиков

с 1917 года, сын сибирского крестьянина, очевидно, из зажиточных, в 1912 г. экстерном окончил гимназию и поступил в харьковский коммерческий институт. После Октября «комиссарствует» сначала над харьковским почтово-телеграфным округом, а с февраля 1918 г. «чрезвычайно» комиссарствует уже над пятью южными поч.-тел. округами. С мая по сентябрь 1918-го года в той же должности «чрезвычайного» по связи всех фронтов. Дальше «любимая партия» перебрасывает его на боевые посты: то посылает организовывать партизанщину в Татарии и Башкирии (с декабря 1918 г.), то командовать группой войск Курского, а с февраля 1919 г. — Донецкого направления. С марта по 16 апреля 1919 г. Кожевников уже командует XIII армией, получив задание двинуться на юг, теснить белых. Тут он и погорел... \*) Очевидно, из-за этого его и понизили в чине. Кожевников прозябает в Волжско-Каспийской флотилии. В 1921 году он появляется на другом конце страны товарищем министра иностранных дел ДВР (Дальне-Восточной республики), потом советским эмиссаром в Приморском крае для организации партизанщины. Оттуда в 1922 и 1923 годах его назначают полпредом сначала в Бухаре, потом в Литве. Но «возвращается ветер на круги своя», и в 1924 - 1926 годах Кожевников, протирая брюки в Наркомпочтеле, стал мучиться вопросом: «Братишки, за что боролись?» На Соловках он получил ясный ответ.

Все рассказанное сейчас о Кожевникове взято из официальных советских источников. В Военной энциклопедии его биография закончена так: «В 1922 - 1923 годах полпред в Бухаре и Литве. Затем работал в Наркомпочтеле». И все...О Соловках и сумасшествии — ни слова.

В 1927 - 1929 годах наш летописец Андреев не раз прогуливался вокруг соловецкого кремля с командармом (стр. 51):

«Иногда я гуляю по Савватьевской дороге с Иннокентием Серафимовичем. Это высокий, грузный человек, старый большевик, в прошлом друг Ленина и Троцкого (Вернее—знакомый им по военным донесениям о нем и ему. М. Р.)... Он говорил мне: «У нас тут только сгусток того, что на воле. Тут все раз-

---

\*) Его Тринадцатая армия первая развалилась под атаками денкинцев. Этот период так описывает советский военный историк Канурин: «Когда Кожевников и Махно попытались продвинуться в начале апреля 1919 г. к Таганрогу и Ростову, их встретил ген. Май-Маевский и кавалерия ген. Шкуро. Измученная и смешавшаяся армия стала распадаться на части. В середине апреля она была неспособна и только наблюдала события».

деты и мерзость прет наружу... Ленина нет, а нынешние мелкотравчатые подлецы меня до смерти будут тут держать. А ты знаешь, что такое Кожевников? Солнце в небе одно, так и Кожевников на земле один». Лицо его спокойно, но в глазах светится странный огонек... Летом 1929 г. Кожевников, окончательно сойдя с ума, напишет манифест, объявит себя «Соловецким королем Иннокентием Первым, дарует всем свободу» и скроется в лесу. Он вскоре будет пойман и исчезнет с соловецкого горизонта».

Несколько иной рассказ о Кожевникове находим у Николова (стр. 120, 121):

«Интересного человека встретил я сегодня, — делится осенью 1928 года с Никоновым его приятель-правдист (и «парашечник». М. Р.) Матушкин: — Не понял я, не то он чекист, не то совсем наоборот. Подошел к нам (к новому этапу. М. Р.), стал спрашивать, кто, да откуда, да по каком делу. Потом махнул рукой: — Здесь, говорит, все дела одинаковы. И ни с того, ни с сего начал рассказывать, что лагерные порядки скоро кончатся, что в правительстве ожидаются большие перемены, Рыкова, якобы, по шапке вместе с целой компанией, а лагеря из ГПУ перейдут в Наркомюст. И еще много сногшибательного услышали мы от него. Потом уже узнал стороной, что его фамилия Кожевников. Он — племянник Калинина и командовал одним из фронтов, да проштрафился, и, должно быть, здорово, — пришит крепко, на 10 лет».

Дальше, уже на стр. 195, Никонов передает от себя:

«В кремле я узнал еще новость: произошел необыкновенный побег, (летом 1929 г. М. Р.). Инструктор физкультуры Думбадзе (была такая блатная должность при КВЧ для обслуживания вольных и любителей из заключенных, о чем более подробно передает Олехнович. М. Р.), скаутмастер Шепчинский (По Солженицыну стр. 38 — «обнаглевший сын расстрелянного генерала вывесил тогда над входными воротами лозунг «Соловки — рабочим и крестьянам!», но лозунг не понравился начальству, разгадали и сняли») и племянник Калинина Кожевников, втроем бежали при весьма странных обстоятельствах. Накануне побега Кожевников послал в соловецкую типографию для напечатания «манифест». Он начинался так: «Мы, Иннокентий Первый, император Всероссийский и проч. и проч.». ... Дальше шел бред, бессвязные слова и восклицания. Вскоре Думбадзе вернулся. Его заключили в Секирку. Кожевникова поймали в лесу и, как ненормального, вывезли на материк, надо полагать в больницу для душевнобольных. На Шепчинского неожиданно набросилась повстречавшаяся с ним

в лесу партия шпаны и жестоко его избила. Теперь он лежит в больнице».

Солженицын (стр. 62) излагает этот «вздорный побег» после отъезда Горького, как повод (для ИСЧ) раздуть его в большой фантастический заговор белогвардейцев, при чем вместо Думбадзе у него участником побега назван ковбой Дегтярев. Тех, кому «шили» заговор, в октябре или ноябре 1929 г. расстреляли, а из этих поименованных четырех: Кожевников умер в апреле 1931 г. в доме для умалишенных (см. Военную энциклопедию), с ковбоем Дегтяревым я ездил в одном вагоне на Соловках осенью 1931 года. Что стало с Думбадзе неизвестно; Секирка — не курорт... Последнего, Шепчинского, действительно расстреляли и, надо думать, по списку «заговорщиков». Об этом свидетельствует такая справка во втором томе отца Польского (стр. 225):

«Священник о. Михаил Глаголев из Замоскворечья, на Соловках с 1926 г., расстрелян там же вместе с С. А. Грабовским и Д. М. Шепчинским осенью 1929 года».

## 6. ФРЕЙЛИНА СРЕДИ ПАДШИХ

В книге Ширяева (стр. 277 - 286) есть глава — я назвал бы ее этюдом — «Фрейлина трех императриц», о баронессе Фредерикс на Соловках. Баронесса по ряду причин и личным качествам выделялась на ссыльном острове среди аристократок, как архиепископ Иларион — среди «князей церкви». О ней упоминает Мальсагов (стр. 102, 103), Клиnger (стр. 197) и Зайцев (стр. 116), т. е. все летописцы первых лет концлагеря.

Клиnger и Мальсагов называют ее сестрой бывшего министра императорского двора барона Фредерикса, что, будто бы, и послужило основанием заключить баронессу в Соловки. Сам министр Двора, скрепивший своей подписью акт отречения императора от престола, продолжал спокойно жить и умер в 1927 году в возрасте 89 лет не то в Петрограде, не то, говорят, в Финляндии, где он владел большими поместьями. Такая гуманность Дзержинского совершенно непонятна в свете официальной оценки, данной барону в первом издании БСЭ (том 59, стр. 168):

«Ярый реакционер, покровитель черносотенных организаций, один из наиболее влиятельных сановников придворной камарильи; пользовался большим влиянием на царя...»

Как бы то ни было, эти две личности в близкой, прямой родственной связи не состояли. Барона звали Владимиром

Борисовичем, а баронессу Наталией Модестовной. Привезли ее на Соловки не за громкое имя, хотя оно тоже учитывалось на Гороховой, а за активную церковную деятельность в своем приходе в Петрограде. Об этом ясно сказано во втором томе «Материалов...» протопресвитера Польского (стр. 262). Баронесса имеет право числиться среди церковных людей на Соловках. Да и все, что написано о ней Ширяевым, косвенно подтверждает ее особую религиозность. Была ли она «фрейлиной трех императриц», выяснить пока не удалось, хотя в годы второй войны мне однажды довелось в Австрии сидеть за званым обедом с одной из фрейлин. Упустил возможность... Во всяком случае на Соловки ее привезли давно, с первыми «наборами» аристократок в 1924 г. «уже глубокой старухой» (Клинггер). Несмотря на возраст и хилость, ее, будто бы долго посылали на одну из самых тяжелых не только для женщин работ — на кирпичный завод на формовку и переноску сырца. Так черным по белому передает Ширяев:

«Уголовницы и проститутки — пишет он — не спускали с нее глаз, жадно ждали вопля, жалобы, слез бессилия, но не дождались... Не показывая своей усталости, она дорабатывала урок до конца, а вечером, как всегда, долго молилась... В бараке она была встречена не «в штыхи», а более жестоко и враждебно...»

Но время и тактичность баронессы переменяли отношение к ней «падших». Они, наконец, даже выбрали ее уборщицей камеры. — Кого кроме нее? — выкрикнула Сонька Глазок, безудержная в любви и ненависти: — Она всех чистоплотней.

«Я сам, признается Ширяев, ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц, работавших в театре: Кораблиху, кронштадтскую притонодержательницу, и Соньку Глазок, певицу в хоре. Заняв определенное социальное положение (уборщицы. М. Р.) в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но и автоматически приобрела авторитет, даже некоторую власть».

Между тем подошла осень 1926 года. Сыпнотифозная вошь захватила власть на Соловках. Срочно понадобились женщины для ухода за больными.

«Начальница санчасти М. В. Фельдман \*) не хотела назна-

---

\*) Жена члена коллегии ОГПУ Фельдмана, то ли из ревности, то ли для охлаждения ее африканского пыла, переведена была с московской сцены на соловецкую к счастью заключенных. Дурных слов о ней от соловчан не слышно, а огонь в крови... ну и пусть, нам он не мешал.

чений на эту смертническую работу. Она пришла в женбарак искать добровольцев, обещая и жалованье, и хороший паек. Желавших не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная М. В. Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим. В это время в камеру вошла старуха-уборщица с вязанкой дров. Складывая дрова, она слышала лишь последние слова: — Так, никто не хочет помочь больным и умирающим?

— Я хочу, — послышалось от печки.

— А ты грамотная?

— Грамотная.

— И с термометром обращаться умеешь?

— Умею. Я три года работала хирургической сестрой в Царскосельском лазарете.

— Как ВАША фамилия?

Прозвучало известное имя без титула... Второй записалась Сонька Глазок и вслед за ней еще несколько женщин...Двери сыпнотифозного барака закрылись за ними. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них. Страшное место был этот барак. Больные лежали вповалку на полу...Пробил час и для баронессы. Фельдман заметила на ней зловещую сыпь.

— Баронесса, идите и ложитесь в особой палате.

— К чему? В мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но 2-3 дня я еще могу служить Ему. ...Экспансивная, порывистая Фельдман обняла и поцеловала старуху. Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез».

Эту главу у Ширяева читать особо чувствительным не советую. Талантливо написана. Я привел из нее лишь отдельные места. Не верю я только тому, будто старую аристократку долгое время гоняли на «кирпичики», и что сокамерницы «премировали» ее, назначив уборщицей, тогда как почти все интеллигентные соловчанки жили в том бараке обособленно, в своих камерах, что отметил мимоходом даже Горький. А не верю я еще и потому, что у другого летописца, ген. Зайцева, обвиненного редактором киселевских «Лагерея смерти» в том, что он писал «в тонах объективности, пропитанный стремлением быть мелочно правдивым», сообщает нам своим топорным слогом вот что:

«Семейные командиры соловецкого полка берут арестанток из числа высшей аристократии к себе в качестве бонн и гувернанток к своим детям. Так, например, баронесса Фредерикс была гувернанткой, а также некоторые другие аристократки. Курьезно, что высшие аристократки должны воспитывать коммунят».

Топорно и голо изложена правда генералом, — слезинки не выдал из читателя. Сказал, словно обухом по темени.

«Фрейлина трех императриц» не потеряла бы высокого почтения читателей Ширяева, когда бы он своим острым и чувствительным пером перевел ее в тифозный барак с легкой и чистой работы гувернанткой на грязную и опасную санитаркой при умирающих. И был бы тогда ближе к правде. Такой ее поступок несомненно мог быть вызван глубоким религиозным чувством. А из уборщицы в санитарки — воспринимается с привкусом сусальности, слащавости, словно баронесса воспользовалась удачной возможностью поскорее и по-христиански покинуть земную юдоль, не налагая на себя рук.

## 7. СКОРБНЫЙ ПУТЬ БРУСИЛОВОЙ

### Дочь, племянница или сноха генерала?

Многие помнят ее, Варвару Брусилову, одну из двух племянниц или сноху генерала А. А. Брусилова. Пидгайный называет ее дочерью генерала. Но на похоронах Брусилова в Москве в 1926 году, кажется, в марте, в церкви около гроба стояли только его жена и несколько военных сослуживцев, среди которых, возможно, находился и сын покойного. Знаю потому, что был направлен на похороны ТАСС,ом дать о них краткий репортаж, т. к. хоронили Брусилова с военными почестями и гроб до самого кладбища сопровождала конная артиллерийская часть.

В Соловецком концлагере в 1931-32 годах я не раз встречал Варвару в обществе других известных дам, которых было бы просто совестно называть «зэчками».\*) Но «мужской благосклонности», как сказал бы Чехов, Варя не вызывала ни фигурой, ни лицом и, видимо, тяжело переживала это, находясь среди более удачливых во всех отношениях сокамерниц своего круга. Было ей тогда около тридцати лет.

---

\*) Чаще всего я видел ее с Рябушинской, по одной версии — первой женой известного всей белой эмиграции промышленника, а по другой — дочерью этого Рябушинского, женой погибшего на Лубянке Алексева — родного брата одного из двух основателей МХАТ,а К. С. Стравинского (псевдоним К. С. Алексева). В 1937 году ее вывезли с Соловков через Белбалтлаг неизвестно куда и зачем. На острове в 1930 - 1932 годах многие верили слухам, будто род Рябушинских в Париже предлагал за нее ОГПУ большой выкуп.

Встречал эту Варвару, ее сестру и брата в первый год НЭП,а в Москве наш писатель Родион Мих. Березов. Ему дали приют под одной крышей с ними. «Варя была, — вспоминает он, — такая добрая, ласковая. Правда, на язык смелая — за что, вероятно, и пострадала».

Наиболее полный репортаж о ее дальнейшей судьбе на Соловках прочли у Пидгайного, в главных фактах на этот раз не вызывающий особых сомнений.

После пожара в кремле летом 1932 года островной Швейпром, где, помнится, она работала, уже не восстанавливали. Расширяли Швейпром СЛОН,а на материке около Кеми, на Вегеракше. Брусилову перевели уборщицей в коровник сельхоза на Анзере. Хотя Горький и признал, что скотный двор Соловецкого сельхоза на Муксальме «содержится куда чище, чем молочный совхоз под Ленинградом», все же и он едва ли поверил бы черезчур красочному описанию анзеровского коровника Пидгайным. А описал он его в главе на английском языке ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА (стр. 191-199) вот так:

1. Дежурные с совками чуть не на лету ловят коровью «дань природе».
2. У каждой коровы свое «меню».
3. Овес для буренок и пеструшек сеют и взрашивают... в теплицах.
4. К приплоду готовятся торжественней и с большей ответственностью, чем к родам жен членов ЦК в кремлевском госпитале: профессора — светила ветеринарии со статьей и сроком — в белоснежных халатах суетятся вокруг четвероногой роженицы.
5. Сам начальник Соловков Пономарев присутствует тут и торжественно нарекает приплод: бычка — Феликсом, телушка — Леной, чтобы и в коровьем царстве не меркла память о Дзержинском и Ленине...

Отдав лепту этой развесистой клюкве, Пидгайный перешел к Брусиловой. В своем несчастье она полюбила порученную ей бессловесную скотину и охотно ухаживала за ней. Но случилось непоправимое. По халатности одного из рабочих-растяп треть всего молочного стада — двадцать холмогорских коров — случайно оказались отравленными и подохли. «Перед этим событием, — пишет Пидгайный — отошло на задворки даже дело о (будто бы. М. Р.) существовании на Соловках национал-социалистической партии». Весь обслуживавший ферму состав — 33 арестантов — ввергли в изолятор. Завертелось круглосуточное следствие.

«Среди заключенных фермы была дочь знаменитого гене-

рала Брусилова, перешедшего на службу к большевикам. Для своих 35 лет она выглядела значительно старше. Подолгу молилась у иконы, подаренной ей в детстве императрицей (!?...и не отобранной в лагере. М. Р.), презирала сохранившихся на Анзере столпов русской империи и Временного правительства (Для Ежова что ли двадцать лет берегли их! М. Р.), держалась обособленно от всех, чтילה только Столыпина и молча несла свой крест. Коммунизм она полностью отрицала и ненавидела».

Падеж коров, за которыми она так старательно ухаживала, вызвал у Брусиловой слезы и рыдания. Начальник лагеря Пономарев, узнав об этом, решил, что именно под ее влиянием сонный недотепа ночью впотьмах вместо молотых костей взял мышьячную муку, стоявшую для лекарственных надобностей по соседству с пшеничной (?! М. Р.), овсяной, костяной и рыбной мукой и комбикормом. Брусилову заперли в «каменный мешок», в котором за три века до нее страдали староверы. Самый подлый и жестокий из следователей Царапкин допрашивал Брусилову то днем, то ночью, являясь к ней в каземат. Добиваясь признания, Царапкин пытал несчастную. То приказывал охранникам раздеть ее до гола и бить резиновой дубинкой, то сам привязывал ее к каменному столбу (хотя в казематах и «мешках» для этого не хватало места. М. Р.). На двух страницах расписывает Пидгайный, как Брусилова безуспешно бросала камни в Царапкина, какой обмен репликами происходил между ними. Узница категорически отказалась подтвердить обвинение, но согласилась подписать, что считает большевиков виновными в гибели России. Это устраивало Царапкина. После того, ее перевели в отдельную келью третьей роты (административно-технической. М. Р.). Там она полтора года ожидала суда. Наконец, на остров приехала Выездная сессия Верховного суда. Она освободила из изолятора всех 33 «сообщников» Брусиловой, посчитав их достаточно наказанными, а ей дали новых 10 лет срока. Вместо коровника ее отправили прачкой при бане. В июле того же года (надо полагать 1937-го) ее отправили в третье отделение Белбаллага, где вскоре «расстреляли за контрреволюционную пропаганду», — заканчивает свою повесть Пидгайный. Из девяти страниц этой главы достоверными, отвечающим истине, можно признать только несколько фраз, все остальное — литературные домыслы, далекие от подлинных условий и обстоятельств.

В заключение приведу выдержку из письма одной соловчанки (с материка, не с острова), читавшей мою первую книгу: «...И еще я знала одну соловчанку в том же 37-м году —

Варвару Николаевну (кажется) Брусилову, жену сына генерала Брусилова. Она работала на ферме в Соловках, получила новый срок — 10 лет, несколько раз объявляла голодовки и в июне, примерно, 37-го года ее вывезли самолетом с Соловков на лесоповальную командировку Белбалтлага, где она также голодала, и только на 23-й день голодовки ее забрали из барака. Больше я ее не видала, это была ее последняя голодовка».

Сказано предельно кратко, но главное не упущено, и каждое слово тут, далекое от внешней эффектности, вызывает доверие.

## 8. «НАШ ВАНЬКА»

Начнем издалека, с Ширяева, единственного, кто еще на Соловках намеревался описать концлагерь (стр. 30 и 332):

«Ко мне (на пароходе, уже в виду Соловков, 17 ноября 1923 г.) протискивается сидевший в той же, что и я 78-й камере Бутырок, корниловец первопоходник Тельнов (Иван Гаврилович. М. Р.), забытый при отступлении больным в Новороссийске. Там, в Бутырках, я слушал его сбивчивые, несколько путанные, но полные ярких подробностей, рассказы о Ледовом Походе. Поручик Тельнов не лгал. Он не раз видел смерть в глаза и уже прошел страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Трудно испугать его угрозой смерти. Лицо Тельнова беспрерывно подергивается судорогой — старая контузия, память о бое под Кореневкой.

— Дошли до точки! Дальше что?..»

А дальше вот что, рассказывает Клиnger (стр. 208 и 209):

«Иван Гаврилович Тельнов прислан на Соловки, как активный участник антибольшевистского движения. Он служил в армии Деникина. Перипетии гражданской войны создали из него, так сказать, любителя сильных ощущений не без налета авантюризма. Очень интересный как мужчина, он завоевал сердце госпожи Александровской, жены чекиста Александровского, в то время \*) (конец 1923 - начало 1924 г.) еще имевшего влия-

---

\*) Тут что-то не каждое лыко в строку. У Ширяева Тельнов — корнилович, у Клингера — деникинец, но это не столь существенно: и так и эдак — белый. А вот с Александровским — иное. Он прислан был организовать соловецкий совхоз еще до концлагеря. Занимался расхищением ценностей, подлогами, и чтобы замести следы, поджог монастырь, но благополучно отчитался, о чем на стр. 158 и 159 рассказывает сам же Клиnger. Что же дальше ему делать на Соловках при Ногтеве и Эйхмансе? И какой же он чекист, если прислан Наркомземом, хотя и был членом партии и другом дипломата Шлихтера, в то время оформлявшего мирный договор с Финляндией?

ние на соловецкие дела. Благодаря ее протекции и собственной ловкости, Тельнов скоро стал старостой соловецкого лагеря (очевидно, в каком-то из его отделений, т. к. в самом кремле старостами в те годы были иные лица: Савич, Михельсон, Яковлев. М. Р.), а староста имеет большое значение в каждой тюрьме, в каждом концлагере. В этой должности Тельнов «специализировался», главным образом, на преследовании, так называемых, «политических и партийных», которых он ненавидел больше, чем коммунистов и шпану, всемерно в то же время защищая интересы «контрреволюционеров». Снискав к себе полное доверие местных властей, Тельнов устраивал так, что ни одна жалоба на него со стороны социалистов не доходила до Москвы. \*) Одновременно Тельнов подготовлял побег. Ему грозил расстрел. Опять-таки благодаря Александровской и собственному умению лавировать, Тельнов остался жив и не наказан. Чтобы замять дело, соловецкая администрация послала его на Попов остров старостой Кемперпункта, (т. е. правой рукой Кирилловского. М. Р.). И здесь Иван Гаврилович — каэры называли его в своем кругу «наш Ванька» — снова повел ту же тонкую и опасную игру. С одной стороны он завлекал верхушку администрации в кутежи, взяточничество и разврат, с другой — усиленно помогал каэрам и гнул в бараний рог низшее лагерное начальство. Идя ва-банк, Тельнов не стеснялся бил уголовников за малейший проступок или ропот и сажал в карцер рядовых чекистов. Узнав однажды, что чекисты пишут на него жалобу в Москву, Тельнов настроил против них Кирилловского, всецело подпавшего под его влияние. Кирилловский, по совету и настоянию Тельнова, вызвал доносчиков, жестоко избил их и посадил на месяц в строгий карцер. Когда их вели туда, Тельнов крикнул: — Еще одна жалоба, и я вас, сволочи, всех расстреляю! Незаметно для самих себя все главные чекисты Кемперпункта оказались в руках Тельнова его сообщниками. Постепенно втягивая их в дебоши, вымогательства, подлоги и взятки, ловкий староста не только заинтересовал их денежно, но и купил их молчание и покровительство, ибо, если кто-нибудь из них захотел погубить Тельнова, погубил бы и самого себя. У Тельнова было достаточно улик

---

\*) Едва ли Тельнов имел какое-либо отношение к социалистам, в то время содержавшимся в Савватьевском и Муксальском скитах под охраной красноармейцев. Клиндер, возможно, имел в виду азербайджанских муссаватистов и грузинских меньшевиков. Этих держали на «на общих основаниях» со шпаной и каэрами. ГПУ не причисляло их к социалистам. Оставим эту «загадку» историкам.

против всей лагерной администрации. Подготавливая почву, Тельнов принялся за осуществление главной своей цели: организации массового побега с разоружением всего 95-го охранного дивизиона. Предусматривался захват военного склада и «ликвидация» всех охранников и чекистов, чтобы затем всей массой — на перепункте было до двух тысяч заключенных — двинуться в Финляндию. Незначительные патрули вдоль границы не могли бы оказать им сопротивления. «Пусть потом весь Север России заговорит о Ваньке Тельнове» — дошли до летописца, якобы, собственные слова Тельнова. В ночь накануне восстания Тельнов намеревался собрать у Кирилловского все начальство перепункта и напоить его. Между тем третируемые старостой мелкие чекисты, уголовники и социалисты объединились против «захватившего лагерь опасного контрреволюционера». Одна из жалоб дошла до Москвы. Приехала следственная комиссия. Тельнова увезли на Соловки и там в сентябре 1925 года расстреляли.

Все это рассказало Клингеру лицо, якобы посвященное в планы Тельнова. Оно же ссылалось на соловецких красноармейцев из охраны, сказавших, будто Тельнов спокойно выслушал приговор и умер как герой. Сомнительно, откуда могли про то знать красноармейцы, когда, по словам Ширяева, его расстреляли, вернее пристрелили работники ИСЧ? Дотошному читателю, а тем более историку, жизнь и похождения Тельнова в Соловецком концлагере покажутся плодом упражнения в авантюрной беллетристике, близкой к той, что приводилась о Френкеле. Но одно несомненно: он, действительно, старался по возможности облегчить жизнь каэров. Рассказ Зайцева о второй роте «леопардов» на Поповом острове доказывает, что хотя Тельнов погиб, «но дело его живет». Шпану на пересылке и после Тельнова держали в клещах, не позволяя «поднять хвост и дать жизни каэрам».

Порицать Тельнова за одно и хвалить за другое найдется много охотников из тех, кто не прошел его путем, особенно теперь, в иных условиях и при недостатке времени на часы раздумий. Дадим, однако, первое слово тому, кому никто не рискнет заткнуть рот — Юрию Дмитриевичу Бессонову, кто вел дневник своего дерзкого побега из Кеми на Евангелии. Он не только честно и здраво рассказал о жизни на Кемперпункте весной 1925 года, но и высказал о ней свое мнение. Начнем со страницы 156-й:

«Часа в два в наш столыпинский вагон дверь с шумом растворилась и в него в полушубках, валенках, с револьверами на боку, ввалились два каких-то типа. От обоих пахло спиртом.  
— Ну как?.. Баб привез? Показывай! — по-панибратски обра-

тился один из них к начальнику конвоя. В одной из клеток нашего вагона сидели восемь женщин. Среди них была видная блондинка. Ее мужа расстреляли, ей дали 10 лет.

— Ну-ка ты, повернись!..Тебе говорят, — повторил один из типов.

— Всю дорогу морду воротит, — сказал начальник конвоя.

— Ну ничего, пооботрется...А недурна...Ты за что? Ты за что? — спрашивал тип, идя по коридору, — Вы за что? — спросил он одного из ехавших со мной офицеров.

— По 61-ой...за контрреволюцию.

— А, значит по одному делу. Приятно. На сколько?...На три? Мало. Я тоже был на три, два отсидел, еще три добавили, итого четыре. Ну, до свидания, — прибавил он, покидая вагон.

— Это ваш будущий командир полка и заведующий карцерами, — сказал начальник конвоя. — Поехали ловить шпиона. Сегодня бежал. Тоже бывший офицер.

Я ничего не понимал. Бывший офицер. Он же командир полка. Он же арестованный. Ловит беглецов. Отсюда, значит, можно бежать. Почему он сам не бежит? Трудно было на мой взгляд совместить все это, но вскоре, испытав Попов остров, я понял.\*)

...Тонко и умно построили большевики соловецкую каторгу. Да, собственно, и всю Россию. На Поповом острове только три администратора из центра: начальник и его два помощника. Все остальные места заняты арестантами...Лишив людей самого необходимого, т. е. пищи и крова, они же, большевики, дали им и выход. Хочешь жить, т. е. вместо полагающихся тебе восьми вершков нар иметь отдельную нару и получать за счет других лучшую пищу, становись начальником. Дави и без того несчастных людей, делайся мерзавцем, доноси на своего же брата, выгоняй его голого на работу...Не будешь давить, будут давить тебя. Ты не получишь трех лишних вершков нары, лишнего куска хлеба, и сдохнешь с голоду. И люди идут на компромисс. Да и удержаться трудно, ведь вопрос идет о жизни и смерти. То же делается и во всей России, но на Соловках это наиболее резко выявлено. Одним из таких поддавшихся людей и был наш будущий командир полка, знаменитый Ванька Т.-в (Тельнов. М.Р.), теперь покойник. Его расстреляли. Он

---

\*) Следующий ниже абзац уже приводился в главе ФРЕНКЕЛЬ, ФРЕНКЕЛИЗАЦИЯ И ПРИДУРКИ, но из-за его значимости считаю нужным повторить и тут.

бывший белый офицер, за что и попал на Соловки\*) Есть было нечего, и он поддался. Но я никак не могу сказать, что это был совершенно отрицательный тип. Он хотел жить, делал «карьеру», но никогда не давил своего брата контрреволюционера. Его расстрел еще раз подтвердил, что для того, чтобы служить Советской власти, нужно изгадиться до конца. Он не дошел до него и, как непригодный власти элемент, был уничтожен».

Для эпилога о Тельнове вернемся снова к Ширяеву (стр. 332 - 336). Он и Глубоковский, бывший артист Камерного театра, вечером в сентябре 1925 года сошлись на Онуфриевом кладбище за кремлем «поговорить по душам, без свидетелей».

— «А в этой могиле тот, с кем я приехал еще до тебя, — сказал Ширяев, указывая на могилу Даллера. — Я за ним стоял третьим, когда принимали этап на острове. Вторым был Тельнов.

— Значит, теперь твоя очередь. Тельнова вчера «израсходовали».

— Что ты врешь? Я с ним вчера ужин вместе брал.

— Ну и брал...а после ужина его взяли. По предписанию из Москвы. А в «расход вывели» вечером, когда мы у Мишки (директор соловецкого театра) Гайдна слушали (австрийский композитор). Помнишь, когда вечером Отена\*\* сверху позвали? А наверху ему сказали: «Идем Тельнова шлепать». Он собрался в момент... Не в самой шлепке дело. Это тут будни...Не в том ужас, что Отен прямо от Гайдна пошел. Да его и не тянули... Знаешь, что он у Головкина (театральный плотник) взял? Клещи и плоскозубцы. Тельновский рот помнишь? Весь в золоте, в коронках... Понял? Теперь представь картину: лес, Тельнов еще тепленький...Один ему рот растягивает...Но и это не страшно. А вот когда вернулся к нам Отен и стал «Оправдания» Дамаскина (композитора религиозной музыки. М. Р.) слушать,

---

\*) Конечно, это И. Г. Тельнов и вполне возможно, что до побега Бессонова он все еще был командиром полка, т. е. начальником всех рот Кемперпункта. И только в июне, не на долго, при Зайцеве, получил повышение — стал лагерным старостой. Из разговоров в столыпинском вагоне стало ясным, что «будущий комполка» Тельнов за «художества» на острове получил «довесок» в три года. О расстреле Тельнова в сентябре Бессонов, бежавший в мае, мог узнать за границей из эмигрантских газет или от последних беглецов, в частности от Клиндера, бежавшего в декабре 1925 года.

\*\*) Вымышленное имя обрусевшего поляка, в прошлом — с какими-то заслугами в ЧК, как поясняет Ширяев.

а у самого зубы тельновские в кармане...Вот это страшно! Ведь не ханжил он, а действительно чувствовал Дамаскина и в высь духом возносился превыше нас всех...

— А самое страшное — добавил Ширяев — плотник, спокойно вытирающий кровь с клещей без страха и содрогания...»

Эту беседу двух приятелей я изложил с большими пропусками, чтобы и тут, как в главе о фрейлине, предохранить чувствительных читателей от ночных кошмаров...Но еще более жуткое, чем клещи, знаем все мы сами. Это — ручки-самописки в карманах пиджаков Ленина, Сталина, Дзержинского и их наследников, которыми они подписали бесчисленные тысячи смертных приговоров от расстрелов до виселиц таким же двуногим, а после спокойно садились в кресла правительственных лож московских театров и восхищались классической музыкой, балетом, оперой «превыше нас всех». Ведь не ханжили они, а действительно переживали, что шло со сцены. с этими-то ручками в пиджаках!

## 9. МЕРЗОСТИ ГРЯЗНОГО ЧИСТЯКОВА

Был такой. Старостой в Кеми. Давно, в 1923-1924 годах, при Гладкове, чья жена командовала каэрами и лелеяла шпану. Жаль, что так мало дошло до нас о Чистякове. Мальсагов скупо сообщает (стр. 135):

«Он заставляет женщин не только чистить ему сапоги и готовить пищу, но и мыть себя».

Клингер (стр. 206) добавляет:

«Чистяков — чекист из заключенных. По его словам, он попал в ссылку за участие в кронштадтском восстании, но, насколько известно, ни один чекист на стороне восставших не был. Большой негодяй и кокаинист, Чистяков жил в лагере, как король. Мне рассказывали в Кеми, что он заставлял заключенных умывать себя».

Вот и все, что дошло до нас от первых летописцев о Чистякове. Мало для обоснованной биографии, простор для фантазии. Вскоре он исчез с Кемперпункта и память о нем испарилась. Осталось лишь упоминание, будто тогда начальство пересылки делило узниц на «рублевых, полтинничных и пятиалтынных» в зависимости от их внешних качеств и соответственно требовало прислать им для утех женщин не по фамилии, а по цене «прейскуранта» (Мальсагов).

К счастью, сыскался след Тарасов, т. е. Чистякова. И где! — в одном из уральских политизоляторов. В той же должности — старосты. В Кеми его назначили старостой всего перпункта,

тут, в камере, самым политическим пришлось избрать его своим старостой. Другие кандидатуры отвергались администрацией изолятора.

В той камере сидел всамделишный, без подмеса, троцкист югослав Антон Силига, оставивший в своей летописи более полную историю этого Чистякова (на стр. 181 - 183). Привожу ее в сокращенном переводе с английского из его книги «Русская загадка» (Лондон, 1940 г., стр. 304).

Высланный сначала в Соловки, Чистяков по занимаемой должности старосты пересылки мог свободно менять места. Раз или два он даже словчился съездить в Петроград, оформить развод и успеть вторично жениться. Но первая жена донесла на него, и в один из нелегальных приездов арестанта Чистякова арестовали. ГПУ снисходительно относилось к проступкам и преступлениям старых чекистов. Чистякову за все «художества» добавили три года срока, но вместо Соловков отправили его в политизолятор.

Слесарь по профессии, Чистяков чем-то отличился в Октябрьском перевороте, а в гражданскую войну был начальником ЧК одного из районов верхней Волги. В начале 1921 года его назначили политкомом крейсера «Марат», команда которого вместе с ним присоединилась к кронштадтским матросам. Вот за это он и получил вместо расстрела десять лет Соловков. \*)

Троцкий для Силиги — герой Октября и главком Красной армии, а для Чистякова — кровавый палач, задушивший кронштадтское восстание. Безрезультатно пытался Силига выяснить детали восстания. Чистяков не любил этой темы, и только раз ответил: «Это было не восстание, а сплошной хаос».

Зато много и с увлечением вспоминал Чистяков о своей «деятельности» в Кемперпункте. Любому, кто готов слушать, Чистяков охотно рассказывал об оргиях, ночных похождениях и беспробудном пьянстве, к участию в которых вызывались заключенные женщины. Силига запомнил один из рассказов Чистякова и передает его. Привезли новый этап из 80 женщин. Их выстроили, и администрация (Кемперпункта. М. Р.) отобрала десять наиболее интересных женщин, а остальных от-

---

\*) С ним же вместе привезли на Соловки и командира «Марата» старого морского офицера с громкой фамилией из истории русско-японских разногласий в начале века — Вонлярлярского. О нем, если удастся собрать подтверждения, дадим особую статью в газету, потому что одного чаепития с ним за самоваром на лесной бирже на Соловках в 1932 г. далеко недостаточно для биографии.

правила на разные отдаленные пункты, добавив к ним тех десять женщин, кто до сих пор выполнял «обязанности», отныне возлагаемые на отобранных и оставленных в Кемперпункте. «Обстановка—резюмирует Силига, существовавшая во времена торговли невольницами. Власть, хлеб, водка, чистое помещение все эти мощные средства, способные сломить и наиболее стойких, были в руках администрации. И Чистяков с гордостью утверждал нам: — Любая женщина, будь она святой девицей, на Соловках станет проституткой, и для примера ссылался на племянницу одного из наиболее известных адмиралов. Чистяков, заключает Силига, достиг дна человеческого падения. Он — живой пример, во что могут превращаться люди в таких условиях».

По должности старосты, Чистяков оказывал законные и незаконные услуги тем политическим (в основном — оппозиционерам, М. Р.), кто мог оплатить их. Когда-то Чистяков сам расстреливал, теперь же из-за одного-двух рублей готов самоунижаться. Зато смог приобрести себе теплую одежду и крепкие ботинки. Вначале ему завидывали, потом стали бояться из-за его дружественных отношений с ГПУ (т. е. с администрацией политизолятора. М. Р.).

Почему-то у Силиги не хватило политической смелости прямо сказать, что Чистяков отнюдь не является политическим узником. Он прислан к ним вместо Соловков надежной «наседкой», наушником, доносчиком. Допускаю даже, что кое-кто из подобных Чистякову, объявленные по концлагерям в 1930 году как расстрелянные произвольщики, на самом деле разосланы вот по таким местам «искупать свою вину» доносами.

Особенно упорно держались такие подозрения среди соловчан о Курилке и Селецком, как о наиболее известных «произвольщиках». Начальника 4-го отделения (всего острова) Зарина, увезенного с Соловков московской комиссией весной 1930 года, вскоре нашли в привычной обстановке в новом карагандинском лагере.

Насколько «органы» немилосердны и памятьливы ко всем, побывавшим в их руках, настолько же они всепрощающи и забывчивы к своим старым «соратникам», наказанным «за перегибы чекистской линии» ссылкой на Соловки. К приведенным именам в первой книге можно добавить еще десяток из «летописи» Киселева ЛАГЕРИ СМЕРТИ о чекистах, хорошо ему знакомых по общей работе. Тут ему можно вполне верить.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### ТАК БЫЛО В СТАРОЙ РОССИИ

#### Глава 1

#### РУССКАЯ УГОЛОВНАЯ КАТОРГА

Перейдем теперь к характерным выпискам и сокращенным пересказам о дореволюционной каторге 1875 - 1909 годов. О ней печатали после свободного изучения на месте писатель А. П. Чехов, журналист В. М. Дорошевич, служащий каторги врач П. С. Лобас, американский корреспондент Джордж Кеннан и др. \*) Но у кого из читателей хватит терпения и

---

\*) Кеннан объезжал Сибирь в 1885 - 1886 гг. с целью изучения царской каторги и ссылки, заручившись предписанием русского правительства всем сибирским властям оказывать Кеннану полное содействие, но не допускать до общения с политическими каторжанами и ссылными. А он именно из-за них и отправился за тридцать земель. Вот тут и воспользуемся удобным случаем обрисовать «наивного туриста» его же словами. Изложив свою беседу на Карийской каторге с жандармским капитаном Николиным, при котором оба вели себя хитрыми Авгурами, Кеннан просит читателя простить его за лукавство с жандармом по следующей причине (стр. 223):

«В моем багаже и при мне находились революционные произведения, планы тюрем, копии бумаг из государственных архивов...письма к политическим арестантам и от них и, кроме того, десять-пятнадцать записных книжек, которые послужили бы тяжелой уликой не только против нескольких десятков ссылных, но и против многих бесстрашных и честных чиновников, доверившихся мне и давших мне полезные и интересные указания».

Не «указания» они дали ему, а документы и факты против своего правительства. По законам большевистского Октября, Кеннана посчитали бы матерым шпионом, а чиновников — изменниками родины... Оба тома книги Кеннана с зарисовками художника Фроста найдете в любой крупной библиотеке Запада и Америки. Русская политическая эмиграция перевела и напечатала работу Кеннана в 1890 году. В России она вышла в 1906 г. в издательстве «ЛОГОС» в сокращенном переводе. Петербург предписал впред не допускать Кеннана на русскую территорию за нарушение им условий путешествия по Сибири. В 1924 году Кеннан умер. В некрологе о нем журнал «Каторга и ссылка» (Но. 12) писал: «Мы, особенно старые революционеры-народовольцы, потеряли близкого и дорогого нам друга».

окажутся возможности отыскать и прочесть эти книги, да еще и найдет ли он их, кроме, разве, Чеховского «Сахалина»? Вот почему привожу из них с некоторыми пояснениями отдельные выписки, по которым хотя приближенно можно представить себе обстановку, условия и людей прежней каторги и сравнить их с теми, что описывались здесь до сих пор.

## КАК ИХ ПРИНИМАЛО НАЧАЛЬСТВО

О Максиме Горьком и Пришвине на Соловках уже сказано в первой книге, чем они там интересовались, что скрыли от читателей и что извратили. Сейчас поведем речь о Чехове и Дорошевиче. Достоевский тут не в счет. Он сам был каторжником в кандалах, да и носил их в доисторические годы. Джордж Кеннан в 1885 году искал его тюрьму в Омске. «Не нашел острога, в котором страдал Достоевский. Давно снесена и следа не осталось» (стр. 46).

Чехов и Дорошевич побывали на Сахалине из писательского любознания и общественных интересов. Чехов, при плохом здоровье, проехал в 1890 году только на телегах и бричках около десяти тысяч верст, а Дорошевич в 1897 году из Одессы на пароходе, перевозившем каторжан, достиг Сахалина, обогнув всю Азию.

Послушаем сначала Чехова:

«Несмотря на усталость и недосуг, начальник острова генерал В. О. Кононович принял меня чрезвычайно любезно и беседовал со мною около часа. Он образован, начитан и обладает большим опытом, т. к. до Сахалина 18 лет заведывал каторгой на Каре; производит впечатление человека искреннего, проникнутого гуманными стремлениями; с отвращением относится к телесным наказаниям. Джордж Кеннан в известной книге КАТОРГА И ССЫЛКА В СИБИРИ отзываясь о нем восторженно. Генерал обещал мне полное содействие».

Даже Гернет упомянул Кононовича в своих книгах — «как исключение».

Это он, Кононович, на постановлениях окружного суда и полицейского управления клал резолюции: «Утверждаю, кроме телесного наказания». К сожалению — добавляет Чехов — он за недосугом очень редко бывает в тюрьмах и не знает, как часто, даже в 200-300 шагах от его квартиры, секут людей розгами, и о числе наказанных судит только по ведомостям. \*)

---

\*) А наказываемые, по объяснению Дорошевича, сами просят надзирателей и смотрителей не записывать в журнал порку розгами, иначе, внесенная, она послужит плохим «аттестатом» для перевода

Почти вслед за Чеховым, 19 июля 1890 года на Сахалин приехал Приамурский генерал-губернатор барон А. Н. Корф, которому уже готовили торжественную встречу. Военный оркестр разучивал марши, солдаты гарнизона — их на острове было втрое больше, чем на Соловках (1500 ч.) — маршировали; воздвигались арки, строился и украшался мост, чистили, красили, чтобы не ударить лицом в грязь. И тогда, значит, тоже «лощили показуху»...

«Вечером была иллюминация, — пишет Чехов: — По улицам (пос. Александровск — административный центр Сахалина), освещенным площадками и бенгальскими огнями, до позднего вечера гуляли толпами солдаты, поселенцы и каторжные. Тюрьма была открыта...Арестантов кормили свежим мясом и даже олениной. В саду генерала играла музыка и пели певчие. Даже из пушки стреляли и пушку разорвало...И все-таки на улицах было скучно».

Барон Корф пять лет тому назад уже осматривал сахалинскую каторгу и теперь, побывав в ближайших поселках и в тюрьме, где приказал расковать многих кандалных\*), вечером, на торжественном обеде, на который был приглашен и Чехов, в ответ на тост сказал:

«Я убедился, что на Сахалине (теперь) «несчастливым» жить легче, чем где-либо в России и даже в Европе. В этом отношении вам (т. е. администрации острова. М. Р.) предстоит еще многое, так-как путь добра бесконечен».

«Его похвальное слово — замечает Чехов — не мирилось в сознании с такими явлениями, как голод, повальная проституция слыльных женщин \*\*) и жестокие телесные наказания. Но слушатели должны были верить ему; настоящее в сравнении с тем, что происходило пять лет назад (при другом началь-

---

в вольную команду или в поселенцы. Тюремное начальство охотно удовлетворяло такие просьбы. С одной стороны — порка и вопли без ограничений, с другой, по журналу взысканий — тишь да гладь. Вот почему начальник острова не знал истинного числа каторжников, обнимавших «кобылу».

\*) С одного из них, с Блохи, знаменитого побегам и тем, что перерезал много гиляцких семейств, барон Корф приказал снять ручные кандалы, взяв с Блохи «честное слово», что он больше не побежит...Блоха слывет за ЧЕСТНОГО. Когда его секут, он кричит: «За дело меня, ваше высокоблагородие! Так мне и надо». (Чехов, стр. 318).

\*\*\*) В справке, данной Чехову, в Александровском посту их было

нике острова ген. Гинце. М. Р.), представлялось чуть ли не началом золотого века».

На третий день, после молебна, к Чехову прибежал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает видеть его (стр. 30):

«А. Н. Корф принял меня очень ласково и беседовал со мной около получаса. Узнав что у меня нет никаких поручений ни от официальных лиц, ни от научных организаций, барон сказал: — Я разрешаю вам бывать где и у кого угодно. Нам скрывать нечего. Вы осмотрите все, вам дадут свободный пропуск во все тюрьмы и поселения, вы будете пользоваться документами, необходимыми для вашей работы, — одним словом, вам двери будут открыты всюду. Не могу я вам разрешить только одного: какого бы то ни было общения с политическими, т. е. разрешить вам это я не имею никакого права.»\*)

Как принял в 1897 году новый начальник острова генерал Мерказин Дорошевича, ясного ответа мы не нашли. Надо полагать, — вежливо. Почти в конце книги (стр. 487) Дорошевич, описывая свою «дружбу» с Пазульским — «вождем» и непререкаемым авторитетом среди закоренелых профессиональных преступников — говорит: «Рекомендация Пазульского (верховодам других тюрем) сослужила больше службы, чем все распоряжения показать мне все, что я пожелаю видеть».

При Мерказине пошел уже четвертый год, как на Сахалине не было ни одной казни. «Я знаю, сказал генерал Дорошевичу, что отсутствие казней вызывает недовольство у многих». Эта

---

тридцать на учете полиции, обязанных каждую неделю проходить врачебный осмотр. А в семидесятых годах, первый начальник острова Депрерадович, всех прибывающих на каторгу женщин направлял в дом терпимости. То был «каменный век» сахалинской каторги. Особой тюрьмы для женщин тогда не было, как не было для них и каторжных работ. Доходило тогда до того, что у каторжной — любовницы офицера — кучером был солдат...

\*) И Чехов не обманул Корфа, как Кеннан обманул правительство Александра Третьего, получив от него примерно такое же официальное разрешение, какое дал Чехову Корф. Попутно отметим, что проф. Гернет в своей ИСТОРИИ ЦАРСКОЙ ТЮРЬМЫ оценивает Корфа несколько иначе, нежели Чехов, основываясь на воспоминаниях о посещении Корфом Нерчинской политической каторги, когда одна из политических отказалась встать при входе в камеру генерал-губернатора.

фраза стала отправной точкой для описания Дорошевичем всех процессов казни в прошлом и поведения осужденных к ней злодеев. Он беседовал с пятью еще живыми сахалинскими палачами восьмидесятых годов, в том числе с известным Комелевым, на счету которого тринадцать повешенных.

За всю историю Сахалинской каторги до 1898 года повешено 20 каторжан, из них одиннадцать за то, что в 1885 году, как беглецы, напали на селение айнов, вымиравших туземцев, вытесненных с юга японцами, принялись истязать их, женщин изнасиловали и в заключение повесили детей на перекладинах (Чехов, стр. 292).

Теперь Комелев в отставке, переведен в богадельщики и живет на поселке. Прослышав, что ожидается наказание розгами, а палача при тюрьме пока нет, он пришел «подработать». Чтобы не проедаться, ожидая, когда позовут, нанялся к поселке... нянчить детей. И так-то заботливо держал на руках младенца, зайдя в избу, что Дорошевич отложил беседу с палачом о виселицах на другое время...

Чехов уже в первые дни приезда на Сахалин обратил внимание на то, что «каторжные и поселенцы, за немногими исключениями, ходят по улицам Александровска свободно, без кандалов и без конвоя, и встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки, няньки... Здешние дамы бывают совершенно покойны, когда отпускают детей гулять с няньками из бессрочно-каторжных».

Осмотревшись более основательно, Чехов (стр. 28 и 62) убедился в том, что «не мало каторжного труда затрачивается и на потребности тюрьмы. В тюрьме каждый день работают кашевары, хлебопеки, портные, сапожники, водоносы, поломойки, дневальные, скотники и т. п. Около 50 человек прикомандировано к тюремному лазарету, неизвестно в качестве кого и для чего, и не сочтешь тех, которые находятся в услужении господ чиновников. Каждый чиновник, насколько я мог убедиться, может брать себе неограниченное количество прислуги. Младший тюремный врач с сыном имел повара, дворника, кухарку и горничную. У одного смотрителя тюрьмы было восемь человек штатной прислуги: швея, сапожник, горничная, лакей-рассыльный, нянька, прачка, повар, поломойка. Вопрос о прислуге на Сахалине — обидный и грустный вопрос, как, вероятно, везде на каторге, и не новый». Начальники острова Гинце и Кононович боролись с этим злом, но, по словам Чехова, недостаточно энергично. О прислуге он нашел только три приказа, и таких, которые заинтересованный человек мог широко толковать в свою пользу.

## ГЛАВА 2

### ЭТАПЫ

За десятками книг о советских концлагерях мы уже забыли, что такое каторга в старой России, как она была устроена, особенно сахалинская. Освежим память.

Суды с присяжными и адвокатами приговаривали тяжких преступников к каторге на разные сроки или бессрочно, уточняя в приговорах, с лишением ли прав и каких, содержать ли в кандалах и сколь долго, сколько сверх того, по прибытию на каторгу и не в зачет срока, вынести арестанту плетей: 10-30-50 ударов или 100? Сто — это уже почти верная смерть под плетью палача.

С 1873 г. и до 1876 г. сахалинская каторга пополнялась пешими этапами (но вообще-то каторжников туда отправляли на работы и раньше, чуть ли не с 1861 года). Их кандалный звон разносился по всей Сибири от Урала до Амура. Доктора в пути определяли, кто может следовать пешком, кого сажать на телеги.\* К этой теме об этапах добавим две выписки из книги Д. Кеннана о пеших этапах в 1885 году:

ПЕРВАЯ (стр. 95): «Став на стул, начальник Томского пересыльного управления г. Пепеляев, крикнул: — Ну, ребята, имеете ли вы что сказать, или на что либо-пожаловаться? «Никак нет, ваше благородие!» — гаркнула сотня голосов.

— Ну, тогда с Богом!

...Унтер-офицер крикнул «Шагом марш!» — и под звон цепей вся колонна двинулась по грязной дороге».

ВТОРАЯ (стр. 114): «Когда все больные и слабые арестанты были размещены по телегам, конвойный офицер снял фуражку, перекрестился на тюремную часовню и крикнул: — Ребята, вперед! Счастливого пути!

— Направо, шагом марш! — скомандовал унтер-офицер и колонна, звеня цепями, окруженная конвоем, двинулась к рудникам Забайкалья. За пешими следовали телеги с больными, затем повозки с багажом арестантов.

Первый привал был в 15 верстах от Томска. Тут они подкрепились черным хлебом, пирогами с рыбой, вареными яйца-

---

\*) В Западной Сибири, от Томска уголовные арестанты должны были идти пешком, а политических везли на телегах. За неделю проезжали до 90 верст, каждый третий день останавливаясь на отдых (Д. Кеннан, стр. 79).

ми, молоком и квасом. Все это они покупали здесь же у крестьянок, собравшихся на дороге для продажи своих съестных припасов арестантам. Каждому в этапе в воротах тюрьмы выдавалось на питание в дороге из мешка медяками по 20 копеек на каждые два дня этапа. На третий день этап отдыхал» (и питался с этапной кухни. М. Р.).

С 1879 года отменили дальние пешие этапы на Сахалин. Арестантов, назначенных туда, собирали в Одессу. Пароходы Добровольного флота, чаще всего «Байкал», «Владивосток» или «Ярославль», занимались их перевозкой. Этапы прибывали в Александровск весной и осенью.

Кто забыл советскую этапную традицию с 19-го года, тому напомним. На день пути (в «столыпинских» вагонах) полкило хлеба, селедка или пригоршня камсы и одна-две кружки воды. Вместо «Счастливого пути!» и «С Богом, ребята!» — два одинаковых напутствия по выходе из ворот тюрьмы и по выходе из вагона, — Этап, внимание! Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к побегу. Конвой применяет оружие без предупреждения. В пути не растягиваться и не разговаривать! Партия, шагом марш! Конвой, держать оружие на изготовке!

Наладив выпуск атомных бомб, такой этапный порядок посчитали устаревшим, и внесли в него добавление: — В пути руки держать за спиной!

---

## ГЛАВА 3

### ТРИ РАЗРЯДА КАТОРГИ

Дорошевич очень доходчиво описал, как поступившие на остров арестанты включались в каторжную лямку. Воспользуемся его изложением (стр. 145):

«Все каторжные с первого дня делятся на два разряда: испытываемых и исправляющихся. В первый разряд зачисляются осужденные на 15 лет и выше. Они должны пробыть в этом разряде от 4 до 8 лет. Остальные, обыкновенно, сразу же зачисляются в разряд исправляющихся.

«Испытуемая» — или в просторечьи — «кандальная» тюрьма стоит отдельно, за высоким забором — «палями», — и вдоль стен ходят часовые... От весны до осени, на «сезон бегов» испытываемым (не во всех тюрьмах острова. М. Р.) бреют голову и заковывают их в ножные кандалы весом в 5-5 с половиной фунтов. И тогда сахалинский воздух наполняется лязгом кандалов.

Испытуемые посылаются на работы не иначе, как под конвоем солдат. И часто можно увидеть такие, например, сцены, описанные Дорошевичем: испытываемые разогнали пустую вагонетку для перевозки муки, и повскакали на нее... За ней... задыхаясь, весь в поту, бежит солдат. А на вагонетку каторжане его не пускают: — Нет! Ты пробежись!.. Зато не редкость и другая сцена. Каторжник поотстал поправить кандалы, а конвойный его в бок прикладом. — Ну, за что ты его? — говорю я. Конвойный оглянулся: — А ты не лезь, куда не спрашивают!

Кандальные и солдаты ненавидят друг друга и делают взаимные пакости, где только подвернется случай.

...Но входя в «кандальную», не думайте, что вас окружают исключительно «изверги рода человеческого». Наряду с отцеубийцами и людьми, чье одно имя способно наводить ужас, встретите «исправляемого», вся вина которого в том, что он загулял и не явился на поверку, или бывшего офицера К. в кандалах, посаженного сюда на месяц за то, что не снял шапки при встрече с господином горным инженером...\* По просьбе жены одного из служащих, каторжника за то, что он ухаживал

---

\*) «Ломание шапок» после «Великой отечественной» возобновлено и в советских лагерях, о чем узнаем от Марченко в «Моих показаниях».

за ее горничной и вызывал ее на свидание, перевели временно в кандалную... «чтобы не мешал горничной правильно отправлять ее обязанности».

... Окончив срок «испытуемости», долгосрочник переходит в «вольную тюрьму», как зовут отделение для исправляющихся. Тут больше льгот. Десять месяцев им считается за год, а на рудничных работах год за полтора года. Им не бреют голов, их не заковыывают. На работу они выходят не под конвоем солдат, а под присмотром надзирателя, часто даже и без него. И вот тут происходит чрезвычайно курьезное явление. Самые тяжкие, истинно «каторжные» работы, например, вытаска бревен из тайги, заготовка дров достаются на долю «исправляющихся» — менее тяжких преступников, — а тягчайшие, из «испытуемых» исполняют наиболее легкие работы, потому что, по объяснению начальства, «конвоя не хватит посылать их в тайгу».\*

Тюрьма для исправляющихся — это прежде всего грязный, отвратительный, ужасный, ночлежный и игорный дом, приют бездомных и даже беглых. В годы безработицы и голодовки тут кормится иногда до двухсот поселенцев. Хлеба им каторжане не дают, а баланды отпускают сколько угодно. Баланду каторга продает по 5 коп. ведро на корм свиньям.

За хорошее поведение, «исправляющихся» через некоторое время переводят в «вольную каторжную команду» и тогда они могут жить на частной квартире (у поселенцев т. е. у бывших каторжников и исполнять только заданный на день урок).

И если бы вы знали, как все, что есть мало-мальски порядочного в тюрьме, стремится к этому! — восклицает Дорошевич. — Как они мечтают вырваться из этой физической и нравственной грязи в свой угол!... Аттестация о «хорошем поведении» зависит от надзирателей, «представление» о переводе составляется писарями из каторжных. Они — надзиратели и писари — решают судьбу, и если нет 2-3 рублей — прощайте мечты о «своем угле».

---

\*) Каторжников, занятых «вывозкой на себе», этих, по-соловецки ВРИДЛО, тут называли бревнотасками и дровотасками... «Люди, запряженные в бревно — пишет Чехов (стр. 60) — производят тяжелое впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно у кавказцев... Зимой же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна». В Сахалинском музее Дорошевич видел две гипсовые группы, изображающие вывозку каторжанами бревна из тайги. Больше ничего в музее о каторге Дорошевич не нашел. «Каторга меня не интересует» — ответил ему заведующий музеем (стр. 141).

Не правда ли, будто сѡхжее положеиe с сoловчанами в 12 и 13 ротах в 1923 - 1928 годах? Нет денег или блага чтобы получить терпимую постоянную работу — пошлют в лес к Селецким или на торф. Нет денег «подмазать» на Сахалине — сиди в «вольной тюрьме». Есть деньги — и квартиру найдешь, и от работы избавишься. Дорошевич рассказывает о таком факте. Понадобилось ему встретиться с одним арестантом. Он числился работающим на мельнице, но ни разу Дорошевич не заставал его там. И только позже кто-то сказал ему: — Да он, барин, здесь не бывает. Он за себя другого поставил за полтора целковых в месяц, а сам в тюрьме постоянно. У него там «дело»: он майданщик (содержит свой «буфет»), отец (ростовщик) и барахольщик (старьевщик). А за него до часу дня на мельнице работает мужичонка, приговоренный на четыре года за убийство в драке, в пьяном виде, а с часу до вечера мужичонка исполняет свой урок. «В чем только душа держится, а несет две каторги!» — поразился Дорошевич, посмотрев на него. Тут уж не терпится и мне присоединить и свой возглас изумления: — Да что же это за КАТОРЖНЫЕ уроки, когда даже хилые мужички могут месяцами выполнять их по два урока в день!?

---

## ГЛАВА 4

### РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Сахалинские каторжники, а потом и соловчане двадцатых годов работали по «Урочному положению». Разница лишь в том, что на Сахалине продолжительность рабочего времени для обоих разрядов арестантов зависела от долготы дня, а в концлагере круглый год существовал десятичасовой день, точнее — нормы, определяемые им.

«Законных» дней отдыха у соловчан было в год 54 (все воскресенья, 1-е мая и 7-е ноября). Испытуемые, т. е. кандалники, имеют в году 69 нерабочих дней, а исправляющиеся, включая вольную каторжную команду, 77 дней, из них три на говенье, 52 воскресных и 22 праздничных дней (Дорошевич, стр. 146 и 152). Лобас на 49-й странице приводит продолжительность работ по отдельным месяцам с предоставлением трехчасового перерыва на отдых и еду. По субботам на Сахалине работа заканчивалась в полдень. Соловчане об этом и не

мечтали. Они «мантулили» все шесть дней по десять часов, что составит за год (60 x 52 минус 20 часов за два праздника) — 3120 часов.

Посчитаем теперь по-домашнему, округляя, все рабочие часы сахалинских каторжан за полный год, пользуясь продолжительностью работ по отдельным месяцам, приведенным в книге Лобаса.

Ноябрь-декабрь-январь	70 дней по	7 часов	490 часов
Февраль и октябрь	50 дней по	8½ часов	425 часов
Март и сентябрь	50 дней по	9 часов	450 часов
Апрель и август	50 дней по	10 часов	500 часов
Май - июнь - июль	70 дней по	11 часов	770 часов
Всего за год	290 дней в сред.	по 9 ч. в день	2635 часов

Не забудьте при этом: 52 субботы работают до полудня, т. е. в среднем на 4 с половиной часа меньше, что дает каторжанам дополнительно 235 часов отдыха. За вычетом их, каторжники девятилетних годов прошлого века отработывали за год 2400 часов, а заключенные двадцатых годов — 3100 часов, на 700 часов больше. Мне возразят: — Дорошевич писал, что каторжников и в праздник гоняли на разгрузку или погрузку пароходов. Верно. Гоняли. И Дорошевич возмущался этим. Иногда каторжники скопом отказывались идти на пристань в праздник. Тогда их запирали на замок, и в камеру ставили «парашу» — «пока не одумаются». Но чтобы им за это добавляли срок или морили штрафной пайкой — об этом нигде не вычитал, кроме как в рассказах об Онорской трагедии, о чем будет речь дальше. Случалось в Александровске, что сами каторжники без протеста в праздничные дни шли на погрузо-разгрузочные работы, чаще в надежде пожить там тем, что «плохо лежит». Тогда на дорогу с крестом выходил священник и возвращал партию обратно.

На Соловках тоже гоняли на внеурочные работы (см. главу «Ударниками добивают»), но чаще всего на урочные, туда, где «промфинплан в прорыве»: на вытаску бревен к дорогам, на погрузку платформ торфом или дровами, копать осушительные каналы и т. д.

В чем еще сахалинская и соловецкая администрация шла рука об руку, так это в игнорировании одного существенного пункта «Урочного положения». Он гласил: «При определении на разного рода работы принимаются в основание: физические силы рабочего и степень навыка к работе».

Категории трудоспособности устанавливались там и тут, да не очень-то с ними считались на обоих островах. Не вижу

даже нужды подтверждать такую практику ссылками на авторов. Факты найдете у каждого соловецкого летописца, а относительно Сахалина — у Дорошевича и Лобаса и в мягкой форме у Чехова.

---

## Глава 5

### СМЕРТНОСТЬ И БОЛЕЗНИ

После Онорской трагедии и вообще незавидных условий жизни и работы каторжан на Сахалине по описаниям Дорошевича и Лобаса,\*) можно было ожидать, что они приведут потрясающие цифры смертности. Но ни у того, ни у другого их не оказалось, кроме как с Онорской просеки, да и те у обоих разные. Лобас, как врач, перегрузил свою книгу страницами (97 - 104) с перечислением всяких болезней, с которыми каторжане и поселенцы являлись в околотки и регистрировались. Одних нервных, душевно-больных и эпилептиков с 1892 по 1896 год зарегистрировано по острову 2007 человек. Вообще, к цифрам в этой области надо подходить с большим недоверием. В канцеляриях и околотках орудовали с ними запросто; какая графа приглянулась, в ту и сунут. Да и лекарей не мало было таких, кто верил, будто «горшок на живот — все заживет»...

Даже генерал, начальник острова, не знал, сколько же людей завезено на Сахалин и затребовал эти цифры из Петербурга. И оказалось, что «за первые десять лет с начала морской перевозки, с 1879 по 1889 год на Сахалин, как сообщили Чехову, доставлено 8430 каторжных обоого пола, из них половина осуждена за убийства». Какое-то число каторжан поступило на остров до 1879 г. из тех, кого до этого отправляли на каторгу пешими этапами через Сибирь и Дальний Восток, но опять таки никаких цифр об этом в архивах острова не нашлось.

После Чехова арестантов тоже привозили на остров, но сводных цифр и тут не оказалось. Дорошевич приводит только две: в 1895 г. на остров сослано 2212 арестантов и в 1896 г. 2725 (стр. 145). Да еще у Брокгауза напечатано, что на

---

\*) У Чехова все это передано более беспристрастно, без ненужного пафоса, возмущения. Он приехал на остров не осуждать, а понять и объяснить плохое и хорошее, хотя последнее на любой каторге, конечно, редко отыщешь.

Сахалине в 1897 г. числилось 8643 ссыльно-поселенцев (не считая каторжников в семи тюрьмах). И только в последнем издании БСЭ (т. 23, стр. 8) нашлись, очевидно по архивным материалам тюремного ведомства, итоговые данные, по которым «за время существования сахалинской каторги (1869 - 1906 г.) на остров было сослано свыше 30 тысяч человек, в том числе 54 участника революционных движений, в большинстве поляков по процессу их партии «Пролетариат».

Вот тут было бы очень и очень к месту в Советской энциклопедии опубликовать цифры смертности на Сахалине, чтобы подтвердить ими вечную слезоточивую риторику о жуткой там участи «несчастненьких». А у нас было бы тогда основание сравнить их со смертностью на Соловецком острове (книга 1-я, стр. 119), а после — и со смертностью в других концлагерях и местах ссылок. Ан, цифр-то об этом и не печатают!

Лишь у Чехова нашлись крохи по этому вопросу, да такие, что они испугали Антона Павловича (стр. 331): «На показателях смертности — пишет он — можно было бы постронить великолепную иллюзию и признать наш Сахалин самым здоровым местом на свете». Согласимся с Чеховым, что процент смертности в отчетах занижен. Его исчислили к 15 тысячам каторжных и поселенцев с семьями, когда их в 1890 году было, по Чехову, лишь 10 тысяч. Но и с этой поправкой выходит, что из тысячи людей (без солдат, туземцев и вольных) за год умирало около 20 человек. ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ ЗА 1889 ГОД ПО ВСЕМУ САХАЛИНУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 194 УМЕРШИХ, по 16 человек в месяц, или через день по одному на весь остров с шестью тысячами каторжников в тюрьмах и десятками поселенческих пунктов с сотнями семейств. Повторяю: 194 покойника за год на десять тысяч взрослых и детей! Определенно мало для братских могил. Да их и не было. Каждому рыли отдельную могилу с крестом и сколачивали гроб, хотя в гробу иногда, жаловался Дорошевичу священник (стр. 313), приходилось отпевать совсем голых покойников — со седи по нарам «раздрючивали» мертвых.

Соглашаемся со всеми авторами, что местная соленая кета и завозная из Одессы и Владивостока часто оказывалась с червями, а щи — горько-солеными,\*) что хлеб для работа-

---

\*) «Когда вдруг на кухне, пишет Чехов (стр. 259), варят похлебку из свежего мяса, арестанты отказываются ее есть. У кого-то, знать, медведь задрал корову, или случилось несчастье с казенным быком. Такую убоину каторжники считают падалью». Во время хода рыбы, арестантов кормят свежей рыбой, отпуская по одному фунту на человека.

ющих за тюрьмами выпекался сырой,\*) что в переполненных камерах под полом хлюпала вонючая жижа, что арестанты спали на всяких лохмотьях, поедаемые клопами и вшами, что на работах зимой мерзли, летом истязались мошкаррой, что арестантов нещадно секли розгами, что им не оказывали должной медицинской помощи. В 1889 г. по всему Сахалину числилось слабосильных и неспособных к работам каторжников обоого пола 632 человека или 10,6 %. Лобас (стр. 51) утверждает, что на Сахалин отправляются только здоровые. Тут, принимая партию, их снова сортируют на три категории: полноценных, слабосильных и неспособных к труду и, кроме того, снова осматривают с той же целью два раза в год. Тем не менее, пишут авторы, весьма часто малосильные, больные и даже иногда калеки назначаются на тяжелые работы. Не будучи в состоянии их выполнить, они наказываются, теряют последние силы и превращаются в бесполезных полных инвалидов. Как же, однако, оказалось, что при таких условиях на Сахалине смертность была в двадцать-тридцать раз меньше, чем на Соловках в двадцатых годах? (Загляните в первую книгу, стр. 129). Правда, на Сахалине не было эпидемий тифа, не было Сеткирки, не было расстрелов и таких пристрелов на работах, как на Соловках. В жутких кандалных Воеводской и Дуйской тюрьмах было тепло и спокойно прогуливались сытые кошки.

Дотошный Чехов, записав канцелярские цифры смертности, объехал все сахалинские церкви. Отпевали покойников только по справкам медицинского персонала о причинах смерти. Они и указывались в метрических записях. Незначительные расхождения нашлись только в причинах, а не в итогах смертности. Воспользовавшись случаем, Чехов заодно выписал и обработал данные о смертности по книгам за десять лет. Сколько

---

\*) В тюремном хлебе процент припека должен быть такой же, какой установлен для солдатского хлеба. «Припек — пишет Чехов (стр. 258) — это демон-искуситель, перед чарами которого устоять, оказывается, очень трудно. Благодаря ему очень многие потеряли совесть и даже жизнь: смотритель Селиванов... пал жертвой припека, т. к. был убит хлебопеком-каторжанином, которого распекал за малый припек... В Александровской тюрьме те, которые довольствуются из котла, получают порядочный хлеб, живущим же по квартирам выдается хлеб похуже, а работающим вне поста (т. е. «сухопайщикам» на отдаленных работах. М. Р.) — еще хуже; другими словами, хорош только тот хлеб, который может попасться на глаза начальнику округа или смотрителю (начальнику) тюрьмы».

же и по каким причинам умерло каторжан и поселенцев за десять лет, с 1879 по 1889 год?

1. От болезней дыхательных органов, главным образом от чахотки, которая здесь самая частая и опасная болезнь, умерла треть всех похороненных, но цифр Чехов почему-то не приводит.
2. От крупозной пневмонии умерло 125 чел.
3. От желудочно-кишечных заболеваний (из них 66 падает на детский возраст) 338 чел.
4. От «заразно-повальных и эпидемических болезней» главным образом среди детей поселенцев 45 чел.
5. От «старческого маразма» 45 чел.
6. От брюшного тифа и горячек 50 чел.
7. От кровавого поноса 8 чел.
8. От «воспаления мозга», апоплексии и паралича 10 чел.
9. «Скоропостиженно» умерших 17 чел.
10. Неестественных смертей среди православных было 170. Чехов так поясняет эту цифру: по приговорам судов повешено 20 чел., двое повешены неизвестно кем, самоубийств разными средствами было 27; многие из этих 170 человек утонули, замерзли, задавлены деревьями, но цифр по каждой из этих причин Чехов не приводит. Одного задрал медведь.

Умирили также от цынки и сифилиса, но очень редко. Слово рак вообще не упоминается ни Лобасом, ни Чеховым.

«Вот и все, что я могу сказать о заболеваемости (и смертности) в ссыльной колонии... И все, что найдет здесь (об этом) читатель, не картина, а лишь одни слабые контуры» — как бы извиняется перед нами Чехов.

Но цифра за 1889 год в 194 умерших вполне точная и достаточная, чтобы по ней «сравнить век нынешний и век минувший» и не дать ей прорасти быльем.

---

## Глава 6

### ПИЩА — ОДЕЖДА — РЕЛИГИЯ — ПОБЕГИ

Предельно кратко приведу еще несколько важных данных о сахалинской каторге в надежде, что найдутся-таки читатели, чтобы сопоставить их с теми, что приведены в первой книге о соловецком концлагере.

П И Щ А. Не нашлось ни у кого даже строчки похвалить или хотя бы признать сносным по количеству или качеству

довольствие арестантов и на Соловках, и на Сахалине. Лишь американец Д. Кеннан отметил, что черный хлеб, выпекаемый для этапов и на сибирской каторге в восьмидесятых годах по вкусу был не хуже домашнего сибирскокрестьянского хлеба, и обеды с кухни попадались ему вкусные.

Чехов (стр. 256) приводит следующие нормы питания на Сахалине: печеного хлеба — 3 фунта (1200 гр.), мяса — 40 золотников (170 гр.) или рыбы в постный день — 1 фунт, около 15 золотников круп (60-65 гр.) и на копейку приправочных продуктов: перца, лаврового листа, а также чаю.\*) Чехов, очевидно забыл добавить сюда овощи (картофель, капусту, репу, бураки и др.) — главное питание особенно поселенцев, хотя дальше он и вспоминает о них. Лобас (стр. 37) указывает точно: картофеля закладывалось в котел по 2 фунта на человека или, взамен, ведро капусты на сорок человек. Он же добавляет, что по праздникам арестанты получают суп из свежего мяса по полфунту на человека, а на ужин — рисовую кашу с бараньим салом.

Поселенцы в первые два и редко — три года по отбытию каторги (т. е. по-советски, вроде ссыльных, кому недосиженный срок заменили ссылкой) продолжали состоять на казенном довольствии, получая кормовое, вещевое или денежное пособие, пока, опять-таки с помощью казны, обзаводились собственным хозяйством, получая в долг от нее семена, скотину, инструмент, с.-х. инвентарь и т. п. Иные поселенцы задолжали казне по несколько сотен рублей и никогда, утверждает Чехов, не выплачат долга.

Чехов уже не застал годы, когда казна руками каторжных строила бывшим каторжанам, переведенным в поселенцы, дома, «а поселенцы в это время играли в орлянку»...Очевидно, вспоминая эти «добрые времена», как коты — масленицу, поселенцы, уже снятые с казенного довольствия, хором согласились с Дорошевичем (стр. 80): «Каторга начинается тогда, когда она кончается!» — Пушай — кричала ему толпа поселенцев человек в двести — опять в тюрьму забирают. Там кошь работа, зато корм!

К такому выводу они пришли, вкусив сладость домашнего очага без казенного пайка. Не мало и советских ссыльных думали так же, после концлагеря вывезенные на север и брошенные там на произвол судьбы с первого же дня «свободы».

Для большей ясности и убедительности о довольствии

---

\*) На рудничных и дорожных работах отпускается на человека хлеба по 4 фунта, мяса по фунту и крупы по 24 золотника (по 100 гр.).

каторжан, приведу их нормы питания, как они опубликованы в журнале КАТОРГА и ССЫЛКА, № 2 за 1921 г. Вот какова была РАСКЛАДКА для приготовления пищи в семи тюрьмах Нерчинской каторги на человека в день в 1908 году:

Хлеба печеного работающим	3 фунта или	1200 гр.
Хлеба печеного неработающим	2 $\frac{1}{4}$ фун. или	900 гр.
Крупы гречневой	18 золотн. или	77 гр.
Мяса работающим	48 золотн. или	205 гр.
Мяса неработающим	32 золотн. или	136 гр.
Картофеля	24 золотн. или	102 гр.
Капусты	24 золотн. или	102 гр.
Луку репчатого	3 золотн. или	14 гр.
Сала топленого	2 $\frac{1}{4}$ золотн. или	9 гр.
Перцу на 10 чел.	ползолот. или	2 гр.
Лаврового листа на 10 чел.	$\frac{1}{4}$ золотн. или	1 гр.
Чаю на 10 чел.	1 золотн. или	4 гр.

Рапорт о состоянии тюрем и об этой раскладке подписан ротмистром корпуса жандармов Васильевым. Никаких опровержений на него от бывших нерчинских политкаторжан в журнал не поступало.

О Д Е Ж Д А. Что касается обмундирования, то его, по Чехову (стр. 263), на Сахалине выдавалось достаточно, но как и хлеб, — лучшего качества тем, кто перед глазами начальства. Пологалось по армяку и полушубку ежегодно как мужчинам, так и женщинам, а обуви — по четыре пары чирков (башмаков, по Далю) и по две пары бродней. Солдаты получают мундир на три года и шинель на два года, хотя, по утверждению Чехова, они работают не меньше каторжных: стоят на постах, охраняют на работах, в долинах за десятки верст от казарм заготавливают сено. «Гоняясь в тайге за беглыми, они до того истрепывали свою одежду и обувь, что однажды в южном Сахалине сами были приняты за беглых и по ним стреляли»... (Чехов, стр. 274, 275). Преимущество перед каторжанами у солдат лишь в том, что у них в казармах есть постель и место, где обсушиться.

П О Б Е Г И. За шесть лет, до 1890 года на Сахалине ушло в побег 1501 ссыльно-каторжных, из них поймано и добровольно вернулось 1010 чел.; найдено мертвыми или убито при преследовании 40; без вести пропало 451 чел. (т. е. они умерли или все еще бегают или скрываются где-то на Сахалине или материке). Эти цифры даны Чехову. Лобас (стр. 103) подтверждает, что ежегодно бегут от 200 до 300 каторжных. Чаще всего бегут каторжане, присланные из теплых краев:

южной Азии, Кавказа, южной Украины. «Из каждых встреченных на Сахалине пяти арестантов, трое уже бегали» — пишет Чехов. За каждого пойманного и приведенного беглеца из казны выдается вознаграждение в три рубля. Ловлей беглых занимаются солдаты, гиляки и «любители», об одном из них, кавказце, занятно рассказывает Дорошевич. Из-за потачки в три рубля наблюдаются аферы. Уговорившись с солдатом или гиляком, несколько каторжных бегут. В условленном месте их встречает конвоир или гиляк, ведет обратно, получает вознаграждение и делит его с «пойманными». — Бывает смешно смотреть, — пишет Чехов — когда тщедушный гиляк с одной палкой приводит сразу 6-7 плечистых, дюжих бродяг.

На изучении побегов, их причин и борьбы с ними, Чехов пришел к такому выводу (см. главу XXII):

«Кто вынужден, как солдат или ограбленный поселенец, ловить беглых, тот поймает и без трех рублей, а кто ловит не по долгу службы и не по нужде, а из соображений корыстного свойства, для того ловля составляет гнусный промысел, а эти три рубля — поблажкой низменного свойства».

На Соловецком острове за беглых (их там считали «в самовольной отлучке») вознаграждения не было. Но на материке карелы и коми получали от лагерей в разное время в разных размерах премии деньгами, мукой, рыбой, промтоварами и т. п. Население, даже ребятишки, поощрялись к охоте за беглецами как лагерными оперативниками, так и местными партячейками.

Вообще-то преодолеть Татарский пролив в узком месте на гиляцкой лодчонке или плотике, а зимой — пешком по ровному льду не трудно, хотя и опасно, но все же много легче, чем с Соловков добраться до Летнего берега. Сотни сахалинских беглецов бродят по Дальнему Востоку и Сибири, пробираясь к родным местам. Десятки их со временем попадают в руки стражи и большими партиями, осужденные материковыми судами, возвращаются на Сахалин, где кроме 3-5-10 лет добавочного срока, их, по приговору, ожидает палач с плетью, если беглец признан доктором способным выдержать наказание.

Задолго до Чехова, иные начальники тюрем даже горевали по поводу редких побегов. Они терпели от этого «убыток». Чехов пишет (стр. 310): «Если перед 1-м октября, когда выдается зимняя одежда, убежало 30-40 человек, то это значило обыкновенно, что 30-40 полушубков поступало в пользу зрителя тюрьмы».

Р Е Л И Г И Я. Церквей при Чехове на Сахалине было

четыре, при Лобасе — семь, а при Дорошевиче уже одиннадцать. Занимали места в церквях так: впереди — публика почище, служащие с семьями, дальше — надзиратели, солдаты, поселенцы с семьями и почти у самого выхода — каторжане из вольной команды. На вопрос Чехова, может ли каторжный с наполовину обритой головой, с тузом, а то и двумя на спине, в кандалах придти в церковь, священник ответил: «Не знаю»... Все же и кандалные в Великий пост три дня говеют и тогда — сказали Чехову — церкви, окруженные конвоем, производят удручающее впечатление. На каторге, где половина — за убийства, богомольных арестантов мало. Каторжные чернорабочие обыкновенно в церковь не ходят, занимаясь в праздники личными делами. Впрочем, церкви на острове не так уж бедны. В каждом приходе при Чехове был хор певчих, одетых в нарядные кафтаны. Отраднo, что сахалинское духовенство не относилось к арестантам, как к преступникам, «проявляя больше такта и понимания своего долга, чем врачи или агрономы, которые часто вмешивались не в свое дело» — отмечает Чехов.

Был в семидесятых годах на Сахалине свой «Утешительный поп», как отец Никодим на Соловках в 1923 - 1926 гг. — отец Симеон Казанский или, как его называло население — поп Семен. О каторжных он судил так: «Для Создателя мира мы все равны», а освещая иконостас, выразился так: «У нас нет ни одного колокола, ни богослужебных книг, но для нас важно, что есть Господь на месте сем». Он в те доисторические времена каторги передвигался от прихода к приходу на собаках и оленях, на парусной лодке или пешком по тайге. Заносило его снегом, замерзал, болел в дороге, приходилось поневоле купаться в ледяной воде, но он не падал духом, не роптал и сахалинскую пустыню называл «любезной». «Слух о нем — пишет Чехов — через солдат и ссыльных прошел по всей Сибири, и он теперь на Сахалине и далеко кругом — легендарная личность» (стр. 265).

Работая над романом «Воскресение» (1889-1899), Толстой читал Джорджа Кеннана, беседовал с Чеховым по возвращении его с Сахалина, но духовенство на каторге обрисовано Толстым более темными красками, чем оно показано Чеховым. Вообще Толстой, как известно, не питал симпатий к духовенству, а Синод — к нему...

При церкви в пос. Рыковском (окружном центре) старостой был политический ссыльный Миролубов И. П. Он — бывший мичман, неофициально заведовал метеорологической станцией. Чехов (стр. 125) называет его «привилегированным ссыльным, человеком замечательно трудолюбивым и до-

брым». Мирлоубов, пробывший на Сахалине восемь лет, печатал свои воспоминания в «Историческом Вестнике», о которых неодобрительно отзывается Лобас (на стр. 8-й): «По его описаниям Сахалин не производит мрачного безнадежного впечатления...Лично к себе он видел только хорошее отношение и те, кто являлся позорным пятном для Сахалина, у него вышли симпатичными».

По бумагам, подавляющее большинство населения Сахалина считается православным — 86 с половиной процентов, но есть также лютеране, у которых свое общество. Из Владивостока каждую весну приезжает ксендз, и тогда всех католиков «гоняют» в Александровск. Татары выбирают из своей среды муллу, евреи — раввина, «но неофициально». Дагестанец Вас-Хасан-Мамет на свои средства строил при Чехове в Александровске мечеть.

---

## Глава 7

### ПОЛОЖЕНИЕ ГРАМОТНЫХ КАТОРЖАН

По сведениям, данным Чехову, на 1-е января 1890 года по Сахалину в тюрьмах и поселках ссыльных числилось дворян — 91 и лиц городских сословий (купцов, мещан, духовенства, учителей, офицеров и т. п.) — 924, что, в общем, составляет десять процентов ссыльного населения острова. Не все, но большинство из них были достаточно грамотны, чтобы с первого же дня избежать каторжных работ, или посоловецки — общих: лесных, дорожных и рудничных.

Доросевич, подытоживая свои наблюдения, пишет (стр. 281-285):

«Сахалин, с его бесчисленными канцеляриями и управлениями, страшно нуждается в грамотных людях (как материковые Соловки в двадцатых годах. М. Р.). Всякий мало-мальски интеллигентный человек, прибыв на Сахалин, сейчас же получает место писаря, учителя, зав. метеорологической станцией, статистика и что-нибудь подобное...Каторги так, как ее понимает публика, для интеллигентного человека на Сахалине почти нет. Эти «господа», как их с презрением и злобой зовет каторга — не работают на рудниках, не вытаскивают бревен из тайги, не прокладывают дорог по тундре... Для них другая каторга. Они живут под вечным Дамокловым мечом чем-нибудь не угодить, не снять во время шапку перед каким-нибудь ничтожным чиновником или надзирателем и за это сесть

на месяц, на два в кандалную. А в ней — подчиняться самому отребью, подонкам из подонков тюрьмы. Потому что чем ниже пал человек, тем выше он стоит в арестантской среде. Оттого такие унылые и пришибленные лица вы только и встречаете у интеллигентных каторжан. И многие из них от таких условий начинают пить... Тюрьмою редко кто из них на Сахалине начинает, но многие ею кончают...Страшна не тяжелая работа, плохая пища, не лишение прав, — продолжает Дорошевич — страшно то, что вас, человека мыслящего, чувствующего, видящего, понимающего — с вашей душевной тоской, с вашим горем кинули на одни нары с «Иванами». с «глутами», с «жиганами». Страшно то отчаяние, которое охватывает вас в этой атмосфере навоза и крови. Страшны не кандалы! Страшно это превращение человека в шулера, в доносчика, в делателя фальшивых ассигнаций. И какие характеры гибли!» — восклицает Дорошевич, вспоминая многие исповеди интеллигентных каторжан (стр. 281).

Но все-таки, добавил бы я теперь, эти интеллигенты осуждены открытыми судами за тяжкие чисто уголовные преступления. А вот чтобы сказал Дорошевич, доведись ему дожить до двадцатых годов и свободно побывать на Соловках, где он среди тысяч подлинных интеллигентов с трудом мог бы отыскать 10-20, кто понимал, что «посажен за дело» (исключив отсюда пленных белых офицеров). Все остальные — подлинно безвинные жертвы политических расчетов на Старой площади и на Лубянке. Мой лексикон не столь богат для передачи их внутренних переживаний и я об этом уже который раз заявляю читателю.

---

## Глава 8

### ПОДЛИННЫЕ ХОЗЯЕВА КАТОРГИ

На Сахалине все зависит от надзирателей (как на Соловках двадцатых годов по первым впечатлениям, от ротных и нарядчиков) — вот красная нить, путеводная звезда в репортаже Дорошевича, чего не отрицает и Чехов, но не повторяет этого столь назойливо. А внутри тюрьмы каторжанами командуют их подлинные мучители: «Иваны», «отцы», «май-данщики», игроки. Они — сила, которую боятся не только надзиратели, но и сами смотрители-начальники тюрем. — Я тебе тут царь и бог, — орет ничтожество, вышедшее

из надзирателей или фельдшеров (стр. 180). \*)

Не ограниченный местом, Дорошевич со всеми подробностями описывает каторжный быт. Все же у меня не хватает смелости проводить параллели между русскими уголовниками на Сахалине и советской шпаной и бандитами на Соловках двадцатых годов. На эту тему нужна особая книга. Единственно, что, пожалуй, роднит их больше всего — это страсть к алкоголю, картежный азарт и его последствия. И в прошлом веке, и в концлагерях с их первого дня уголовники проигрывали за месяц вперед свои хлебные пайки, баланду, одежду, проигрывали чужие вещи, даже себя и чужую жизнь.

Ближе всех к каторжникам и страшнее всех для них тюремные надзиратели. На сорок арестантов положен один старший надзиратель, обычно из грамотных унтер-офицеров и два младших, в год посещения острова Чеховым почти сплошь из рядовых, наименее способных и наиболее бесполовых солдат, уступленных офицерами из своих команд. По такому расчету на острове на шесть тысяч каторжников было 150 старших и 300 младших надзирателей.

Чехов в сноске (стр. 279) отмечает, что в 1888 году начальник острова, чтобы укомплектовать надзор, вынужден был разрешить «зачислять на должность надзирателей благонадежных в поведении и испытанных уже в усердии поселенцев и крестьян (т. е. бывших каторжан). Но эта мера, замечает Чехов, не привела к добру», о чем более откровенно и ясно, с точками над и, пишет Дорошевич (стр. 170):

«Каторга? — переспросил Дорошевича смотритель (начальник) одной из тюрем. — С каторгой у меня справляются надзиратели. Лучше их никто не справится. Только мешать им не надо. Все мои надзиратели из каторжан. Он сам каторжный, его каторга не проведет.

Вот таким людям, поясняет Дорошевич, и поручено по форме выполнять девиз Сахалина: «Возродить преступника!»... От надзирателей зависит не только судьба арестантов, но и применение к ним манифестов, сокращающих срок за хорошее поведение. А о поведении судят по штрафным журналам.туда вписывают наказания, наложенные надзирателями и никогда не отменяемые начальниками тюрем. Отменить — значило бы подорвать престиж надзирателя в глазах каторги. Как же он может потом с ней управляться?»

Надзиратели и смотрители тюрем и есть подлинные на-

---

\*) Вполне сродни соловецкому «приветствию» двадцатых годов: — Я вам тут царь, бог и начальник!

ружные хозяева сахалинской каторги. Им Дорошевич отвел две главы: КТО ПРАВИТ КАТОРГОЙ (стр. 161-179) и СМОТРИТЕЛИ ТЮРЕМ (стр. 180-186).

Почти ежедневно в приказах начальника острова, как пишет Чехов, надзирателей штрафуют, смещают на низший оклад, увольняют то за неисполнительность, то за кражи, то за укрывательство, за продажу казенных топоров и гвоздей, за предосудительные сделки с каторжанами. Любовные похождения надзирателей не ограничиваются только женскими бараками. В их квартирах Чехов заставал девушек-подростков, которые отвечали ему: «Я — сожительница»... В тюрьме во время дежурств надзиратели допускают картежную игру и сами участвуют в ней; они пьянствуют, торгуют спиртом, дерзят старшим и каторжников бьют палкой по голове. Спрашивается, какой они могут иметь авторитет? Да только отрицательный, — отвечает Чехов. — Ссылное население их не уважает, говорит им ты, величает «сухарниками», а чиновники обзывают дураками и болванами. В тюрьме надзиратель — прислуга, отворяющая и запирающая дверь, он смотрит, «чтобы не шумели» и жалуется начальству. На работах надзиратель — лишний человек. «Постоянно видишь — пишет Чехов, — как 40-50 человек работают под надзором только одного или совсем без надзора» (стр. 278, 279).

А у высшего островного начальства, как признает Чехов, нет времени посещать тюрьмы и объезжать селения. Даже у генерала, начальника Сахалина, нет ни секретаря, ни чиновника и он сам тонет в составлении разных приказов и бумаг.

Дорошевич, побывавший на Сахалине через семь лет после Чехова, когда книга последнего уже разбудила общественную совесть и положение на каторге несколько улучшилось, признает, что (стр. 141):

«Быт каторги меняется в связи с переменной взглядов на преступление и наказание. Веяние великого гуманного века, теплое, мягкое и согревающее, как летний ветерок, чувствуется и здесь. Многие, что вчера еще было ужасной действительностью, сегодня уже отходит в область страшных преданий».

Громко и красиво сказано. Но этого «летнего ветерка» в очерках Дорошевича не ощущаешь. Он увлекся «страшными преданиями» — болезнью журналистов и пропагандистов. Его легче почувствовать у Чехова несмотря даже на то, что он описывал более ранний период каторги. Послушаем, как этот «ветерок» изложен Чеховым (стр. 284, 285):

«Но как бы то ни было, «Мертвого дома» уже нет. На Сахалине среди интеллигенции, управляющей и работающей

в канцеляриях, мне приходилось встречать разумных, добрых и благородных людей, присутствие которых служит достаточной гарантией, что возвращение прошлого уже невозможно... Хорошие дела и хорошие люди уже не составляют редкости. Здешняя служба мало-помалу теряет свои непривлекательные особенности и процент сумасшедших, пьяниц и самоубийств понижается... Теперь уже не засекут до смерти. Таких начальников, как майор Николаев, уже не видно. Онорское дело, как не пытались его скрыть, всплыло по инициативе самой сахалинской служилой интеллигенции и попало в газеты. Всякое мерзкое дело всплывает наружу и становится гласным.

Сахалинское (вольное) общество уже настолько разнообразно и интеллигентно, что в Александровске, например, в 1888 году могли в любительском спектакле поставить «Женитьбу»; здесь же, в большие праздники, по взаимному соглашению чиновников и офицеров, заменяют визиты денежными взносами в пользу бедных семейных каторжников или детей и число подписей доходит до сорока.

Кроме любительских спектаклей, устраиваются вечеринки, пикники; выписываются газеты, журналы, книги... во многих домах есть рояли. У здешних поэтов есть читатели и слушатели; издавался даже рукописный журнал.

Где многочисленная интеллигенция — пишет Чехов — там неизбежно существует общественное мнение, которое создает нравственный контроль и предъявляет всякому этические требования, уклониться от которых уже нельзя безнаказанно. (Так, добавил бы я, было до «Великого Октября». М. Р.).

Есть начальники, подвергающие свою жизнь по службе большой опасности. Среди ряда примеров, приводимых Чеховым, особенно запоминается один. При Чехове в Корсаковске унесло каторжника в море на сеноплавке (плот с погруженным на него сеном. М. Р.). Смотритель тюрьмы майор Ш., невзирая на бурю и опасность, на катере с вечера до двух часов ночи плавал по морю, пока не обнаружил сеноплавку и не снял с нее каторжника. Недавно скончалась на Сахалине фельдшерница, прослужившая здесь много лет ради идеи — посвятить свою жизнь страдающим людям.

В отличие от новой, старая сахалинская интеллигенция шестидесятых и семидесятых годов, по отчетам и корреспонденциям в газетах, «отличалась полным нравственным ничтожеством». Рассказывают о зажиточном каторжном Золотареве, который в те годы кутил и картежничал с чиновниками. Жена Золотарева, когда заставляла мужа в этой компании, «срамила его за общение с людьми, которые могут дурно повлиять на

его нравственность». Как отголоски тех лет, «и теперь встречаются чиновники, которым ничего не стоит ударить кулаком по лицу ссыльного, даже привилегированного, или приказать дать тридцать розог за то, что арестант второпях не успел перед ними снять шапки».

Невольно вспоминается старая пословица: «Добрая слава за печкой сидит, а худая по свету бежит». О добрых делах и людях говорят вполголоса, о плохих — во всю глотку. Поэтому не приходится удивляться, что и Чехов за время изучения каторги не так уж часто замечал плоды гуманности и сострадания. И подытоживая свои наблюдения, он с горечью признает:

«В новой истории Сахалина играют заметную роль представители позднейшей формации, смесь Держиморды и Яго, — господа, которые в обращении с низшими не признают ничего, кроме кулаков, розог и извозчичьей брани, а высших умиляют своей интеллигентностью и даже либерализмом» (страницы 280-284).

---

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### Глава 1

#### САХАЛИНСКИЕ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ

Женскому вопросу на каторге Чехов отвел отдельную главу, которой мы воспользуемся, дополняя ее выписками из книг Дорошевича и Лобаса.

К январю 1890 года во всех трех сахалинских округах преступницы составляли одиннадцать с половиной процентов от общего числа каторжников, т. е. их было около семисот. Интересные поясняющие цифры нашлись у Лобаса (стр. 113). В 1894 году из этапа в 120 новых каторжанок оказались осужденными: за убийство мужей — 52, за покушение на них — 4, за убийство жен из ревности — 3, за убийство изменивших любовников — 3, за детоубийство — 17, остальные — за убийство свекра, свекрови и т. д. Женщины, как следует из этих цифр, приходят на каторгу за преступления на почве ревности и семейных обстоятельств.

Лет за 15-20 до Чехова, т. е. в 1870-1875 гг. каторжанки тотчас по прибытии на Сахалин поступали в дом терпимости, в который превратили женское отделение тюрьмы по приказу начальника острова тех лет Депрерадовича. О каких-либо работах для женщин тогда не было и речи. «Только провинившиеся и не заслужившие мужской благосклонности» назначались на работу в кухне. Лобас, впрочем, упоминает, будто в те далекие годы женщины наравне с мужчинами таскали грузы и бревна, но, надо думать, не все каторжанки, а лишь за что-то особо строго наказанные. Как известно, Октябрьская «благодать равноправия» на лямку, тачку и лопату тогда еще на свет не явилась.

Теперь, в 1890 году, пишет Чехов:

«Когда прибывает партия женщин в Александровск, то ее торжественно ведут с пристани в тюрьму, а за ними, как на ярмарке за комедиантами, идут целые толпы баб, мужиков, ребятишек и лиц причастных к канцеляриям. Картина, похожая на ход сельдей в Аниве (местная река), когда вслед за рыбой идут целые полчища китов, тюленей и дельфинов, жelaющих полакомиться икрающей селедкой. Мужики-поселенцы (т. е. окончившие каторгу) идут с честными простыми мыслями: им нужна хозяйка. Бабы смотрят, нет ли в новой партии землячек. Писарям и надзирателям нужны «девочки»... Женщин запирают на ночь в заранее приготовленной камере. В первые же сутки, пока пароход не ушел в Корсаковск, жен-

щин распределяют по округам местные чиновники, и потому их Александровский округ получает львиную долю в смысле количества и качества; немного поменьше и похуже получает ближайший Тымовский округ. Тут, в Александровском округе, как на фильтре, остаются самые молодые и красивые, так что счастье жить в южном (Корсаковском) округе выпадает на долю только почти старух. При распределении вовсе не думают об интересах сель. - хоз. колонии, и чем меньше надежды в округе на успехи колонизации, тем больше в нем женщин.

Из женщин, выбранных для «столичного» округа, часть назначается в прислуги к чиновникам. Через четыре года после Чехова, из всех 260 каторжанок этого округа ровно половина числилась «одинокими» в услужении господ служащих (Дорошевич, стр. 168).

«После тюрем, арестантского вагона и пароходного трюма, пишет Чехов, первое время чистые и светлые чиновничьи комнаты кажутся ей волшебным замком, а сам барин — добрым или злым гением; скоро, впрочем, она свыкается со своим новым положением... Другая часть женщин поступает в гаремы писарей и надзирателей, третья, большая, в избы поселенцев, при чем женщин получают только те, кто побогаче и имеет протекцию (блат). Женщину может получить и каторжник из разряда испытуемых, если он человек денежный и пользуется влиянием в тюремном мире».

Подневольное состояние женщины, ее бедность и унижение служат развитию проституции. Когда Чехов спросил в Александровске, есть ли тут проститутки, то ему ответили: «Сколько угодно», хотя полицейское управление дало ему список ТОЛЬКО на 30 проституток, свидетельствуемых еженедельно врачом. В виду громадного спроса, занятию проституцией не препятствует ни старость, ни безобразие, ни даже сифилис в третичной форме. Не препятствует и ранняя молодость. Лобас (стр. 150) подтверждает: «Не раз мне приходилось свидетельствовать девочек 12-13-летнего возраста, и они производили впечатление уже готовых проституток». Чехов рассказывает про цыгана, который продает своих дочерей и при этом сам торгуется, и про содержанку притона, где посетителей обслуживают ее собственные дочери. В Александровске есть даже «семейные бани», содержимые евреем. Игрок, живущий тем, что поставляет свою сожительницу клиенту, навязывал ее даже Дорошевичу (стр. 84).

— Да как же ты... — поразился автор: — Как тебя даже и назвать не знаю...

— Михайлой зовут-с!

На сахалинском жаргоне о подобном «промысле» говорят: «посылать на фарт». Посылают не только сожительницу или жену, но бывает и дочь.

— ...Жрать надо, ваше высокоблагородие! — пояснил потом Дорошевичу «Михайло».

Начальник округа и смотритель поселений (первый — вроде русских исправников, второй схож с комендантом советских спецпоселков на севере) вместе решают, кто из поселенцев и крестьян достоин получить бабу. Преимущество дается уже устроившимся, домовитым и хорошего поведения. «Избранникам» посылается приказ тогда-то явиться в пост, в тюрьму за получением женщин. Когда они, соответственно принаряженные, иные не в свое, а в одолженное у соседей («сборные женихи» по-сахалински), приходят в пост, их впускают в женский барак.

«После некоторого смущения и неловкости — описывает Чехов — «женихи» молча и сурово разглядывают женщин. Каждый выбирает, относится «по-человечеству» и к красоте, и к старости, и к арестантскому виду; хочет угадать по лицам, какая из них хорошая хозяйка? Вот какая-нибудь молодая или пожилая «показалась» ему, садится рядом и заводит с ней душевный разговор. Он отвечает, что есть, есть у него самовар, и лошадь, и телка по второму году есть, и дом тесом крыт. Когда оба чувствуют, что дело уже кончено, она решается задать вопрос:

— А обижать вы меня не будете?

Разговор кончается. Женщина приписывается к такому-то поселенцу туда-то — и гражданский брак совершен.

Через семь лет после Чехова на ту же тему читаем у Дорошевича (стр. 357):

«Поселенцы, так называемые «женихи», все пороги в канцелярии обили.

— Ваше высокоблагородие, явите начальницкую милость, дайте сожительницу!

— Это, брат, прежде было, что баб давали. Теперь только дозволяют брать...Да зачем она тебе? Ты пьяница, игрок!

— Помил-те, ваше благородие — для домообзаводства!..»

Каторжных работ для женщин, как уже сказано, на острове нет. Правда, иногда они моют полы в канцеляриях, работают на огородах, шьют мешки, но тяжелых принудительных работ нет и, вероятно, добавляет Чехов, никогда не будет. Каторжанок тюрьма совершенно уступила колонии, пользуясь, как прикрытие от закона, запрещающего блуд и прелюбодеяние, статьей 345 «Устава о ссыльных». Статья разрешает незамужним «пропитываться услугою в ближайших селениях

старожилов, пока не выйдут замуж». В казенных ведомостях такая жизнь под одной крышей с поселенцем отмечается, как совместное устройство хозяйства или «совместное домообзаводство»; их называют «свободной семьей».

«Можно сказать, подытоживает Чехов, что за исключением небольшого числа привилегированных, все каторжанки поступают в сожительницы».

Одна из женщин (вроде «хорошенькой Шаповаловой», описанной Дорошевичем) не захотела идти в сожительницы и заявила, что она пришла на каторгу, чтобы работать, а не для чего-нибудь другого. Ее слова, будто бы, привели всех в недоумение. Да еще вспоминают баронессу Геймбрук, осужденную за поджог, описанную Чеховым и Дорошевичем. Пробовали чиновники взять ее в «прислуги». Но при первом ласковом жесте она отскакивала в сторону:

— Вы, говорит, можете заставить меня работать, но это го заставлять вы меня не можете».

А насильно отдать ее в соительство — все-таки баронесса...неудобно как-то. Ее моральным страданиям на каторге Дорошевич уделил едва ли не самые трогательные страницы (455-464). А эту «хорошенькую Шаповалову», прежде, в годы Чехова, взял бы кто-нибудь из холостых служащих в горничные и платил бы за нее в казну по три рубля в месяц. Теперь, в годы Дорошевича — в 1897 — это уже запрещено.

На вопрос, как им живется, поселенец и его сожительница обыкновенно отвечали Чехову: «Хорошо живем». Некоторые говорили ему, что дома в России от мужей своих они терпели только озорства, побои и попреки куском хлеба, а здесь, на каторге, они впервые увидели свет. «Слава Богу, живу теперь с хорошим человеком. Он меня жалеет».

— Мужик сам и пашет, и стряпает, и корову доит, и белье починяет, — говорил Чехову барон Корф: — Посмотрите, как он наряжает ее. Женщина у ссыльных в почете.

— Что, впрочем, не мешает ей ходить с синяками, — прибавил от себя генерал Кононович, присутствовавший при разговоре. И действительно: в другой главе у Чехова (стр. 374) в графе «Травматические повреждения» за 1889 год записаны четыре случая, когда в лазарет были доставлены ссыльно-каторжные женщины, избитые своими сожителями.

«Все же — поясняет Чехов — поселенец «учит» свою сожительницу с опаской, так-как сила на ее стороне. Она, как незаконная, может во всякое время уйти к другому. Но кроме «опаски» — добавляет Чехов — не чужда таким семьям и любовь в самом ее чистом и привлекательном виде (стр. 258). Конечно, с хорошими и заурядными семьями вперемешку

встречается и тот разряд свободных семей, которому отчасти обязан такой дурной репутацией ссылочный «женский вопрос». В первую же минуту эти семьи отталкивают своей искусственностью и фальшью и дают почувствовать, что тут в атмосфере, испорченной тюрьмой и неволей, семья уже давно сгнила. Много мужчин и женщин живут вместе, потому что так надо, что такова традиция в колонии, хотя никто не принуждал их к этому.

Унижение каторжанки, как личности, все-таки никогда не доходило до того, чтобы ее насильно выдавали замуж или принуждали к сожителству. Слухи о насилиях в этом отношении такие же пустые сказки, как виселица на берегу моря или работа в подземелье. Лично я — утверждает Чехов — всегда относился с сомнением к этим слухам, но все-таки проверил их на месте».

Дальше Чехов поясняет, что поводом к таким слухам оказались четыре случая, из которых в двух бабы все-таки добились своего: от нелюбимого сожителя ушли к хорошему. Если каторжанка из сварливого характера или из распутства слишком часто меняет сожителей, то ее наказывают, но и такие случаи бывают редко и только по жалобе поселенцев.

Каторжанка получает арестантский паек и съедает его с сожителем; иногда этот пай служит единственным источником пропитания семьи. Если женщина из «сгнивших семей» промышляет проституцией, сожитель видит в ней полезное домашнее животное и уважает ее: ставит самовар и молчит, когда она бранится.

Окончив срок, преступница становится поселенкой и лишается кормового и одежного довольствия... Чем дольше каторга, тем лучше для нее, а бессрочная обеспечена куском хлеба до могилы.

Когда женщину наказывают розгами, то не беспокоятся о том, что ей может быть стыдно, как бы подразумевают, что женственность и стыдливость выжжены в ней приговором или утеряны ею, пока ее таскали по тюрьмам и этапам.

Один чиновник сетовал Чехову на то, что женщин присылают не весной, а осенью, когда она не помощница, а лишний рот в хозяйстве. «Потому-то, пояснял он, хорошие хозяева берут их осенью неохотно».

— Так — возражает ему Чехов — рассуждают о рабочих лошадях, когда предвидятся зимою дорогие кормы.

Надо сказать, что и сами поселенцы довольно прозаично смотрели на женщин. Так, из поселка Сиска они писали окружному начальнику просьбу «отпустить нам рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутрен-

него хозяйства». Даже сам начальник острова, беседуя при Чехове с поселенцами, среди разных обещаний добавил такое: «И насчет женщин вас не оставлю».

Из этих выписок видно, сколь резко отличалось положение каторжанок на Сахалине от мужского состава каторги и поселений.

Сотни свободных женщин с детьми добровольно приехали на Сахалин за своими мужьями и только тут поняли, что оказались в положении хуже каторжан. «Ехали — говорили они — жизнь мужей поправить и свою загубили».

Зарботков у них нет, милостыню просить негде и приходится с детьми кормиться пайком мужа из тюрьмы, пайком, едва достаточным на одного взрослого. И таких женщин «свободного состояния» Чехов регистрировал по острову 697, т. е. сорок процентов всего наличного состава взрослых женщин. Хорошо еще, если дочери подросли — можно ими торговать дома или отдать в сожительницы к богатым поселенцам и надзирателям... Там тогда за это не осуждали. На Сахалине для многих поступков была своя особая мерка, которую нам теперь понять, а тем более оправдать, очень и очень трудно.

«Свободные женщины» к нашей теме не относятся. Отсылаю любознательных к цитированным авторам. На Соловках таких не было. Появились они лишь на материке при лагерях в Коми-Зырянской области и Карелии в годы 1933-1936, когда в виде опыта проводилась колонизация нужных для лагерей специалистов из заключенных. Они переводились на вольные ставки и получали право выписать семьи. Это то же особая тема, о которой в лагерных летописях, даже в обширном «Архипелаг ГУЛag» нет упоминаний. В книге Розанова «Завоеватели...» рассказано о колонизации лишь в Ухтпечлаге и очень кратко.

---

## Глава 2

### ОНОРСКАЯ ДОРОГА

На десятилетия засела в памяти сахалинцев «Онорская история», разразившаяся в 1892 году, через два года после Чехова, за пять лет до Дорошевича и за год до приезда тунда на службу доктора Лобаса.

Начальство надумало сделать просеку из Среднего Сахалина на Южный через заболоченную тундру и тайгу. С вес-

ны до первых заморозков шла работа в условиях, в самом деле, едва ли не более зверских, чем на Соловках в первые годы открытого произвола и террора.

Из партии в 500 человек, составлявшей около десяти процентов каторжных на острове, за это время «убыло» 296 человек, из них 70 умерло, остальные бежали.\*) Места, где трупы зарывали в общие могилы, арестанты окрестили Хановскими и Мурашевскими бойнями.

Во главе всей партии поставили Ханова, а Мурашев был его правой рукой. Ханов служил на Сахалине надзирателем после того, как отбыл каторгу и поселение в Сибири на Каре в «разгильдеевские времена» — самые страшные из всей истории царской каторги. Партию разбили на артели по 20 человек, из них один назначался надсмотрщиком (десятником или бригадиром, как называют теперь). Дневной урок на артель: вырубить деревья, выкорчевать пни, очистить полотно дороги и прорыть боковые канавы на протяжении 150 сажен (300 метров) в длину и две с половиной сажени в ширину. Артели не могли справиться с уроками и надзиратели в наказание били арестантов чем попало, нередко до смерти, а Ханов уменьшал им хлебные порции.\*\*) Партия таяла от побоев, истощения, членовредительства, побегов. Чтобы она не взбунтовалась, отданная под присмотр всего лишь трех надзирателей из военослужащих, Ханов выделил из нее тюремных «Иванов» — атаманов каторги, и поставил их надсмотрщиками. «Иваны» сами не работали, питались лучше и могли тиранить и грабить в своих артелях сколько вздумается. За это они держали сторону Ханова. «Шпанка» же из случайных преступников, забитая и несчастная, поедаемая мошкаррой, лишившись своих коноводов — вот этих самых «Иванов» — безропотно несла свой крест. Люди бросались под падающие деревья, рубили себе руки, чтобы только их, как больше нетрудоспособных, отправили назад в тюрьму. «И сейчас еще, в 1897 году, пишет Дорошевич, на Сахалине мно-

---

\*) Так по Лобасу (стр. 55). Дорошевич в главе «ЛЮДОЕДЫ» приводит иные цифры: отправлено на дорогу 390 арестантов, вернулось 80 (стр. 346).

\*\*) Полагалось тогда на дорожных и рудничных работах по четыре фунта хлеба на день, по фунту мяса или полтора фунта рыбы (соленой кеты).

го этих «онорцев» с отрубленными кистями рук\*).

Сколько погибло в тайге из бежавших с просеки, никто не знает. Поймали только трех людоедов, питавшихся мясом своих мертвых или убитых товарищей. Сахалинскому палачу Комелеву каторжане по грошам собрали 15 рублей за то, чтобы он насмерть заporол одного людоеда, Губаря, тоже из «Иванов». Он чем-то «не потрафил» Ханову и был лишен бригадирства. Подговорив двух каторжан из артели, он бежал и одного молодого вскоре убил «на мясо». Губаря ненавидела и в страхе трепетала перед ним вся тюрьма. И Комелев постарался... Губарь потерял сознание на 48 ударе плетью и через три дня умер. Остальные два людоеда, приговоренные к такому же числу плетей, как Губарь, выдержали. С ними через пять лет и разговаривал Дорошевич. «Все равно птицы расклюют» — оправдывался один из них.

За целое лето проложили 77 верст просеки и отказались от намерения продолжить ее «вдоль всего Сахалина». Как-то она была, можно судить по тому, что 8 верст по ней Дорошевич осилил верхом на лошади только за три с половиной часа.

Что стало с Хановым, Мурашевым, с надсмотрщиками и надзирателями, ни Лобас, ни Дорошевич не сообщают. Лобас лишь пространно повествует, насколько безграмотно медицински и явно лживо составлялись и отсылались акты о смерти каторжан на этой просеке, но что, мол, невзирая на это, «начальство верило донесениям и по поводу большинства скоропостиженных смертей никаких дознаний не производилось».

«Терпигоревцы» — старые каторжане в кандалах пешком измерившие всю Сибирь и Дальний Восток (еще до перевозок их морем из Одессы и по жел. дороге через Сибирь), даже сложили стишок, побывав у Ханова:

Пока шли мы из Тюмени, —

Ели мы гусей.

А как шли мы до Онора, —

Жрали мы людей.

Сахалинские каторжники с 1880 по 1904 год проложили

---

\*) Но срока каторги им за это не увеличивали, в «сушилку» — в карцер не сажали. Нетрудоспособные из-за увечий, подобно престарелым, назывались там богодулами, т. е. доходягами, слабосилкой, инвалидами по-нынешнему, и содержались в богадельне, в бывшей Малотымовской тюрьме. Паек им выдавался прежний: три или два с половиной фунта хлеба и общая «баланда».

не одну, а несколько хороших и даже отличных дорог, вызывающих у Чехова восхищение. Однако, о зверствах на них никто не сообщает. Бывали, наверное, отдельные случаи, уже забытые. Онорская трагедия являлась исключением, целым событием в истории сахалинской каторги. Весть о ней разошлась не только по Сибири среди арестантов, но достигла центральной России и нашла отклик в газетах и журналах благодаря самой же служивой сахалинской интеллигенции, что и отмечено Чеховым (стр. 327)\*). Между прочим, он приводит такую выдержку из приказа № 318 от 1889 года, по которому «На дороге в Таратайке из 131 каторжного было 37 больных, а остальные (т. е. 131 минус 37) явились к приехавшему начальнику острова (генералу Кононовичу) в самом ужасном виде: ободранные, многие без рубах, искусанные москитами, исцарапанные сучьями деревьев, но никто (ему, генералу. М. Р.) не жаловался». Да в те годы, в тех краях, на таких работах летом на каторге подобный вид «работяг», надо сказать, был почти обычным.

---

### Глава 3

#### АМУРСКАЯ «КОЛЕСУХА»

В Сибирской советской энциклопедии 1929 г. \*\*) особо отмечена прокладка трудом арестантов колесного тракта от Хабаровска до Благовещенска. Строили его участок за участком в продолжении одиннадцати лет: с 1898 по 1909 г. Из библиографической справки в 18-м номере журнала «Каторга и ссылка» за 1925 год узнаем, что:

---

\*) М. Н. Гернет в 4-м томе ИСТОРИЯ ЦАРСКОЙ ТЮРЬМЫ на стр. 37-ой утверждает: «Жизнь заключенного протекала между двумя крайностями: полным бездействием в камерах, без надлежащего света и воздуха, и таким каторжным трудом, как постройка, например, Онорской дороги, о которой говорили, что она вымощена костями каторжников». А ведь проф. Гернет знал — это нас держали и держат в неведении — сколько умерло и погибло на сахалинской каторге за все годы. Значит, есть причины скрывать эти цифры, отделяваясь, как сейчас Гернет, общими фразами.

\*\*) Вышло только три тома. Прихлопнули издание. Многие события в ней изложены далеко не так, как требовалось партийными установками.

«Огромная подвижная каторга по голой пустыне в невероятных условиях проложила две тысячи верст дороги, сгубила С О Т Н И (моя разрядка. М. Р.) жизнью, занимая ежегодно полуторы тысячи арестантов, конвоя, обоза и прочих, оставив о себе очень мало в воспоминаниях (каторжан)..., что объясняется текучестью его населения, не выдерживавшего больше года этого поистине каторжного труда...Работали от рассвета до темноты при невозможных условиях: тучи комаров и мошкары, малярия, отсутствие медицинской помощи, издевательства, избиения охраной...«Колесуха», — пишет автор статьи о ней в энциклопедии — по праву занимает «почетное» место в общей системе царской каторги. Она построена, можно сказать, на арестантских костях и полита арестантской кровью».

Поскольку «дорога на костях и крови», автору полагалось бы назвать не сотни, а тысячи жертв. А то что же такое получается: на две тысячи верст, скажем, 500 (сотни!) жертв?! Иными словами, по трупу на четыре версты дороги, по 50 трупов в год на тысячу каторжан или по одному умершему из каждых двадцати. Мало. Явная неувязка и недосмотр и автора, и цензуры, разрыв между скромными цифрами и богатыми эмоциями. На постройке узкоколейки в Соловках в 1928 году («Филимоновская ветка») летописцы называют по одному трупу под каждой шпалой, а на материковых трактах — по одному на каждых 5-10 метрах. Тут уже нет неувязки, а скорее «переувязка»...

В приложенном к «Библиографической справке» списке перечислены 14 опубликованных воспоминаний о «Колесухе» в до и послереволюционные годы и до десяти официальных материалов о ней в «Тюремном вестнике». (О «Вестнике ГУЛАГ,а» мы что-то не слышали...) Выходит, что о «Колесухе» свободно писали, а как тогда писали либералы и гуманисты, мы знаем: кровью, слезами, изрекая проклятья палачам «несчастненьких», как тогда называли каторжан. В послереволюционные годы особо утрашал «Колесухой» Андрей (Юрий) Соболев, социалист-сионист, потом эсер, потом «право-левый» в журнале «Каторга и ссылка» № 3 за 1922 год, в «Былое» и в «Красной ниве», № 14 за 1924 год. По его описаниям, продуктов каторжанам не додают, денег за работу не доплачивают, уроки невыполнимые, подрядчики не торопятся с выполнением работ, соблюдая свои интересы, уголовные следят за политическими, чтобы не сбежали и т. д. Отвечая Соболеву в том же журнале, В. Врублевский пишет:

«Соболев пробыл на «Колесухе» всего несколько недель, и все-то у него там бьют, бьют, бьют. Работают десятками: один

политический и девять уголовников, и девять следить за ним зорче конвоя. Они отвечают за него своей спиной. Выходит — продолжает Врублевский — что тем, кто пробыл на «Колесухе», единственной настоящей царской каторге, по два года и их ни разу не били, нечего и рассказывать о ней».

Позже, в «Каторге и ссылке» за 1923 год № 6, Врублевский в своих «Воспоминаниях» об этом тракте о 1906-1907 годах поясняет:

«Действительно, условия каторги там были ужасны, но ведь никакой организм физически не выдержал бы постоянных избиений с утра до вечера, летом и зимой (и без избиений его не выдерживали). И не в этом заключается тяжесть «Колесухи», а в моральных терзаниях, в ощущении своего бессилия и в непосильной физической работе (для тех, кто прежде не имел дела с тачкой и лопатой, добавил бы я, правды ради. М. Р.)... «Колесуха» — единственная настоящая царская каторга, через которую прошла сравнительно незначительная часть политических каторжан».

Метушаяся натура Соболя не выдержала критики его писаний, ряд произведений Соболя на тему о каторге лежал в папках редакций. Отчаявшийся Соболев в 1926 году пустил себе пулю в лоб. Тогда-то в «Каторге и ссылке» (№ 26) и появился ряд благосклонных о нем некрологов, в одном из которых В. Плесков подвел итог: «...нет и виновных в его гибели. Андрей мог бы кончить жизнь иначе».

До 1906 года на «Колесухе» использовались одни уголовные. С 1906 года туда стали направлять и политических каторжан, преимущественно солдат и матросов, осужденных за военные восстания в период революции 1905 года и крестьян — участников аграрных беспорядков.

«В 1907 г. — пишет Дубинский в Сибирской энциклопедии — положение на «Колесухе» с приходом большой партии солдат и матросов из Нерчинской каторги и Александровского централа несколько улучшилось. Администрация почувствовала в них силу и вынуждена была с этой силой считаться».

Но в чем и насколько положение улучшилось, Дубинский не уточняет. Вернее всего, либерализм и гуманность в обращении с арестантами были продиктованы сверху, как неизбежное следствие политических послаблений после 1905 г. и не только для «Колесухи». Так, широко известная эсерка-террористка Маруся Спиридонова (Умерла в Уфе в 1941 году), в 1906 г. отбывавшая сибирскую каторгу, писала в некрологе о Прошьяне: «...Наши условия жизни тут теперь скорее похожи на пребывание в клубе, чем на каторге».

Из дальнейшего содержания статьи Дубинского узнаем,

что арестантам на «Колесухе» в зависимости от рода работ и степени выполнения или перевыполнения урока (тогда оно называлось «сверхурочной работой») выплачивалось от двух до семи копеек в день, при чем наивысшую плату почему-то получали тогдашние «придурки» — хозяйственная обслуга — по 6 коп. в день.

Дважды в год «Колесуху» объезжал врач, осматривая только тяжелобольных. По тем временам и в центральной России врача в деревне видели не чаще. «Медицинскую помощь арестантам оказывали подчас безграмотные фельдшера», чей объем познаний в медицине соответствовал познаниям соловецких «лепил» двадцатых годов на лесозаготовках и едва ли был ниже, чем у Михаила Ивановича Чарова, воркутского лекнома 1936-1938 годов, когда-то, в начале двадцатых годов, моего редактора в Тамбове, а после — секретаря «Комсомольской правды». Но у фельдшеров «Колесухи» было важное и несомненное преимущество перед лагерными «лепилами»: они не знали «лимитов освобождения от работы по болезни». Поэтому Дубинский и называет их «властителями здоровья и жизни тысяч арестантов».

По официальным данным с «Колесухи» в 1899 году бежало 42 арестанта, из них не поймано только трое, в 1902 году из 62 беглецов не поймано восемь, в 1903 году из 29 сбежавших — пятеро убиты при погоне, 16 пойманы, из остальных большинство погибло в тайге. Цифры о побегах ежегодно печатались в «Тюремном вестнике», но Дубинский из каких-то соображений ограничился ссылкой только на эти три года. «Беглецы — добавляет он — подвергались таким избиениям и издевательствам, что часто предпочитали не сдаваться живыми».\*) Приведенные им выше цифры такой «частоты» не подтверждают.

Сахалинские каторжные, всего несколько сотен, в самом конце прошлого века были посланы на постройку Уссурийской железной дороги. Никаких сведений, в частности о сме-

---

\*) По крайней мере, пойманных тогда на Сахалине и «Колесухе» беглецов не избивали так, как на Кондострове летом 1929 г. Двух беглецов-доходг там истязали на полу в штабе охраны шесть надзирателей. Когда один из них, Соловьев Александр, выдохся, то бросился грызть зубами лежавшего в крови при «летописце» Киселеве (стр. 132, 133), кому официально подчинялась вся охрана. После такой картины, уверяет Киселев, он не мог заснуть. Либо он и тут присочиняет, либо... Говорят, «у кого много причин, тот много врет»... А причин к этому Киселеву не занимать.

ртности и побегах среди них, не нашлось. По случайным снимкам этих первых «желдорлагов» в разных книгах их можно принять за колхозный скотный двор в полдень, если убрать с картины одного верхового стражника у конного водопоя во дворе. Ни зон, ни вышек, ни проволки, ни палей-заборов там не было.

---

## Глава 4

### «ОБВЫКНЕШЬ, ТАК И В АДУ НИЧЕГО»...

Начитавшись теперь по-горло о кандалах, плетях, розгах, как-то не веришь, что в те времена еще сохранились на каторге люди, десятилетиями терпевшие такие истязания. Возьмем для примера двух из многих, описанных Дорошевичем (стр. 474 о Соколове, 503-я о Шкандыбе).

#### ДЕДУШКА РУССКОЙ КАТОРГИ

Матвей Васильевич Соколов — «Дедушка русской каторги». Он отбыл 50 лет чистой каторги, трижды приговаривали его к бессрочной каторге, с бессрочной «испытуемостью» (т. е. с содержанием летом в кандалах). Другого такого не было на всем Сахалине. По закону, его полагалось постоянно держать в кандалной и выпускать не иначе, как с часовым при ружье. А Соколову разрешили жить в столярной без надзора и спать там на верстаке, дрожа старческим телом.

— Только водкой и дышу. Проснешься — хоть в гроб. А выпью чайную чашечку водки, и опять я человек. Я, ваше высокоблагородие, природный пьяница — пояснил он Дорошевичу, и добавил: — А когда водчонки нет — лак пью. Снизу-то муть, а сверху чистый спирт. Так по жилкам и побежит, и побежит...В себя прихожу.

Всему, что он знал — мастерству, грамоте — Соколов выучился на каторге. И самое время тут у него делилось на два периода: «до эшафотов» и «после эшафотов». В каторгу он пошел еще при крепостном праве. До эшафотов. «Когда еще кнутом наказывали. А клейма уж потом ввели!»

Он был крепостным из богатой торговой семьи. Из-за ревности решил убить соперника, но в пьяных руках ружье танцевало. Попал в свою зазнобу Афимью — она с его соперником на салазках с горы скатывалась. За то и присудили его к каторге и к 10 ударам кнутом. Отодрали его при всем народе

в Москве на Конной в базарный день, «еще до эшафотов».

— Много меня пороли: драли и плетьюми, и палками, и розгами и комлями (толстым концом розог. М. Р.), а большее кнута ничего не было! Словно год пороли! А народ-то все деньги сыплет, сыплет ему. (Так было заведено. М. Р.). Вылежался в госпитале — на этап. Муторно. Водочки-бы! Товарищ и говорит: — Будут деньги — будет и водка. Сами сделаем, какие хочешь... Поймали нас, да к палкам. Его-то, как зачинщика, без помощи врача, а меня с помощью (т. е. под наблюдением доктора. М. Р.). Так в те поры было. Ставят в два ряда солдат с палками, привяжут тебя к тележке и везут. А они-то палками по спине рраз, рраз!... Товарищ, царство ему небесное, тот сразу, без помощи врача, кончился. А меня, почитай, целый год драли, пока всего не выдали. Вылежусь в госпитале, опять дадут.

И потом, уже на каторге, всю жизнь, как лето, уходил «на траву», т. е. убегал. Лето пробегает, где-нибудь в работниках послужит, а осенью сам вернется — опять по тюрьме заскучает... Вернется к товарищам, и тут ему плети, либо розги и дополнительный срок. Этими олучками «на траву» он и нажил три бессрочных каторги, так что и манифесты обходили его стороною.

А других преступлений за Матвеем Васильевичем не было. Сами сахалинские служащие считали его честнейшим.

Почувствовав приближение смерти, старик явился в Александровский лазарет к главному врачу Поддубскому: — Умирать к тебе пришел. Ты мне того...и глаза закрой, Леонид Васильич!

«Полно, старина! Еще «на траву» в этом году пойдешь».

— Нет, брат, «на траву» я больше не пойду...Ты меня уж того, положи к себе. Желание старика исполнилось. Прележав два дня, он тихо и безболезненно скончался.

Однажды доктор Н. С. Лобас (тот, кто тоже написал книгу о Сахалине) дал Соколову бумаги, чернил, перьев: — Дедушка, ты столько помнишь...На свободе запиши, что припомнишь.

— С удовольствием, — согласился старик. И на следующий день принес назад исписанную четвертушку бумаги:

«Жизнеописание ссыльно-каторжного М. В. Соколова. Приговорен к трем бессрочным каторгам. Чистой каторги отбыл 50 лет. Получил: кнута — 10 ударов, плетей — столько-то тысяч, палок — столько-то тысяч, розог — не припомню сколько». И подпись.

— Все жизнеописание?

— Все!

## ШКАНДЫБА — ВЕЧНЫЙ ОТКАЗЧИК

Шкандыбу — сахалинскую знаменитность — все знают. Ему 64 года, но он крепкий, здоровый старик. Шкандыба отбыл 24 года «чистой каторги» и ни разу не притронулся ни к какой работе. Его отметил в своей книге и Чехов (на стр. 133).

— Вот те и приговор к каторжным работам! — похахатывает он.

Его драли месяцами день за днем, чтобы заставить работать. Ни за что! Сколько плетей, сколько розог получил Шкандыба! Когда он, по просьбе Дорошевича, разделся — все тело его казалось выжжено каленым железом.

— Булавки, брат, в непоротое место не запустишь, — говорил он сам о себе: — везде порото.

Потрет суконочкой там, где укажут, — и на теле выступают крест-накрест полосы — следы розог.

— Я кругом драный. С обеих сторон. Чисто вот пяточок фальшивый, что у нас для орлянки делают. Как ни кинь, все орел будет. Так вот и я. И поясняет:

— Господин смотритель (начальник тюрьмы) на меня уж очень осерчал. «Так я ж тебя!» — говорит. Драл, драл, не по чем драть стало. «Перевернуть — говорит — его подлеца, на лицевую сторону». По живому секли, по грудям секли, по ногам. Такого даже и дранья-то никто не выдумывал. Уморюшка! Шпанка, так та со смеху дохла, когда я этак-то на «кобыле» лежал.

— А работать все-таки не пошел? — спросил Дорошевич.

— Нашли дурака! — ответил он.

По профессии Шкандыба мясник. В первый раз был приговорен на 12 лет за ограбление церкви и убийство. Бежал. Попался. И достукался до вечной каторги. Сначала на Кару, на золотые приски. То были страшные времена. В «разрезе», где работали, всегда наготове стояла «кобыла» и при ней свой палач. Привели Шкандыбу.

— Земля — ответил он — меня не трогала, и я ее трогать не буду.

В первый день дали Шкандыбе 25 плетей, во второй 50, в третий 100 и отнесли в лазарет. Выздоровел — снова в «разрезе», снова драть и в лазарет... Устали биться со Шкандыбой и отправили на Сахалин.

— Не будешь, говоришь, работать? Так драть будем.

— Ваше полное право.

Шкандыбу переводили из тюрьмы в тюрьму, от смотрителя к смотрителю и всякий потом опускал руки. Один из самых «ретивых» смотрителей К. (Не Кнохт ли в Рыковской

тюрьме? М. Р.) рассказывал Дорошевичу: «Прихожу на раскомандировку (развод по работам) и первый вопрос к Шкандыбе, еще спросить не успею, а он уже к «кобыле» идет и ложится. Плюнул».

«Спектакли», которые по утрам Шкандыба доставлял каторге, были развлечением для тюрьмы. Глядя на него, и другие храбрились, смелее ложились на «кобылу». Его уж просили работать «для прилики» (для вида только): — Шкандыба, чорт, хоть метлу возьми, двор подмети. «Не желаю. Не я насорил, не я и мести буду». — Ну, хотя метлу в руки возьми. «Зачем? Ей не скучно в углу с другими метлами».

Нашелся такой надзиратель, Чижиков. Хотел принудить Шкандыбу не розгами, а кулаками. «Раз меня в рыло, два меня в рыло. Походя бьет... Пошел, взял топор, клясть его по шее». — Насмерть? «Жалко, жив остался: наискось. А еще мясником был».

За это Шкандыбу приковали к стене и приговорили к вечной каторге.

«Сию прикованный: что, мол, взяли, работаю?»

В одну из бесед с ним, Дорошевич спросил:

— Почему же ты отказывался от работы? «А потому, что несправедливо».

— Сам, ведь, говорил: церковь ограбил, человека убил? «Верно. Не грабь, не убивай».

— Ну, и работай! «А работать не буду. Неправедливо».

— Да как же несправедливо? «А так. Вон Ландсберг (о нем дальше. М. Р.) двух человек зарезал, а заставили его работать? Нет! Над нами же командиром был. Барин. Он инженер или там сапер какой-то, дороги строить умеет. Он командует, а я работай...Нет, брат, каторга так каторга, — для всех равна! А это нешто справедливость? Приведут арестантов: грамотный — в канцелярии сиди, писарем, своего же брата грабь. А неграмотный — в гору, уголь копать. Нешто в этом его вина?»

— Ну, а если бы «справедливость» была и всех одинаково бы заставляли работать, — ты бы работал? «А почему бы и нет? Знамо, работал бы. Главное — справедливость. Я потому Чижикову и хотел снести голову. Бей где положено. Драть по закону положено, — дери! Меня драли — слова не сказал: потому — закон. Он не по закону меня в рыло, я его за то топором по шее».

Так и отбыл свои 24 года Шкандыба не подчиняясь тому, что не считал справедливым. Начальство еще тогда, при Чехове, плюнуло на Шкандыбу и зачислило его в богодельщики, чтобы хоть как-нибудь оформить его «каторгу без работы»

«Ходит по Дуэ и поёт этот чужак Шкандыба» — вспоминает о нем Чехов.

\*\*  
\*

Дорошевич, подозреваю, подсказал Шкандыбе ответ о равенстве наказаний для всех виновных в одном и том же. Но он не только не подсказал, но даже не поднял вопроса о том же самом перед сапером Ландсбергом. У Ландсберга нашлись бы свои веские причины для иной точки зрения.

Еще во времена Достоевского обсуждали и согласились, что простолудии, совершив преступление, поступает в ту же среду, из которой отторгнут с воли. Ему не надо приспосабливаться, его сокаторжники почти во всем мало чем отличаются от него. Другое дело — интеллигенты на каторге. Дорошевич в острых и убедительных фразах высказал, почему им каторга несравнимо тяжелее, вдвойне мучительнее.

Царская каторга всегда, советская — до 1935 года испытывали острую нужду даже в просто грамотных арестантах, чтобы заполнить многочисленные конторы и технические должности. На Сахалин даже за длинным рублем охотников ехать служить было меньше, чем требовалось, о чем повествуют и Чехов и Дорошевич. Большевики, испытывая подобную нужду в своих лагерях до 1935 года, выходили из нее тем же путем, что и сахалинская администрация, лишь назвав его «советской системой самообслуживания» («и самоугнетения» — добавляет Солженицын). Ни статья, ни пункты, ни срок, ни личность арестанта, ни даже индивидуальные «спецуказания» до 1935 года не являлись непреодолимым препятствием избежать общих работ. Нужда заставляла пользоваться на местах тем «человеческим материалом», который сюда доставлен, хотя бы клейменный «шпионами», «террористами», «вредителями». Сама Москва до поры до времени смотрела на это сквозь пальцы и понимающе молчала. Да иначе и быть не могло. По Солоневичу среди 70 тысяч заключенных Свирьлага в 1933 году интеллигенции было лишь два с половиной процента, а на Белбалтканале, по его же словам, немного больше.

Только на Соловецком острове в силу особых причин удельный вес интеллигенции в общей массе заключенных был с самого начала достаточно высоким. Но на ее счастье потребность этого лагеря в работниках умственного труда самого широкого диапазона была в несколько раз выше, чем на материковых командировках. При таком положении на острове, на его лесных и торфяных работах оказывались из интеллигентов чаще всего неудачники и несчастливцы, да еще за

что-то наказанные. Другое дело — после 1934 года, но об этом периоде куда лучше и обоснованнее писали другие и ярче всех среди них — Солженицын. Подлинная «борьба за существование» для интеллигенции в лагерях началась с декабря 1934 года. И чем дальше, тем ожесточенней. Я наблюдал ее, имея сильную защиту, и один штрих из личного опыта сейчас передам. Летом 1937 года мой следователь по «вредительству на Печорском Судострое Ухтпечлага» уполномоченный ИСЧ Филимонов Александр Михайлович, при одном из допросов сказал: «За то, что веду на вас дело благодарите своего Ухлина (начальника Судостроя, кронштадского инженера, уже вольнонаемного). Я еще год назад говорил Ухлину, чтобы он убрал вас из плановой части». У Филимонова несомненно были другие кандидаты на мое место из специалистов-плановиков по кировскому набору, возможно, уже «покумившиеся» с ним. Но упрямый Ухлин продолжал держать меня «начальником» ПЭЧ (план.-эконом. части) вплоть до нашего ареста, а Филимонов не имел права предписывать Ухлину в таких делах. Весь ход следствия и суда изложен в «Завоевателях...» так, как редко кто имел к этому такую возможность: просмотр всего следственного материала, весом до двух килограммов... О - О! Эх, куда занесло меня с Соловков! Именно: где зудит, там и чешешь...Возвращаюсь к Сахалину.

---

## Глава 5

### ЛАНДСБЕРГ: АРИСТОКРАТ — ДЕЛЯГА — ГОРЛОРЕЗ

В конце семидесятых годов в Петербурге происходил громкий процесс. Гвардейский офицер Ландсберг, образованный, изящный, принятый в высшем обществе столицы, накануне желанной свадьбы зарезал ростовщика Власова и его служанку. Власов владел векселями Ландсберга и, узнав о свадьбе, с загадочной улыбкой сказал ему: «И от меня вам будет сюрпризец». Ландсберг понял его так, что ростовщик предъявит векселя к оплате или протесту и опозорит его. На суде, однако, выяснилось, что отдельно от пачки векселей, забранных Ландсбергом, на столе лежало ему письмо. Власов в нем называл векселя своим подарком новобрачным. А в завещании, то же найденном, Власов все свое состояние оставлял Ландсбергу...Загублены две жизни, карьера, отме-

нена свадьба. Ландсберга отправили на сахалинскую каторгу.

#### 1890-ый ГОД

Цитируем Чехова (стр. 57): «На краю слободки в Александровске стоит хорошенький домик с палисадником, а возле дома — лавочка. Это, по преysкyрантy, «Торговое дело» принадлежит ссыльно-поселенцу Л., бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет двенадцать назад за убийство. Он отбыл каторгу и занимается теперь торговлей, исполняет также разные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалование старшего надзирателя. Жена его свободная, из дворянок, служит фельдшерницей в тюремной больнице... Пока я разговаривал с приказчиком, в лавку вошел сам хозяин в шелковой жилетке и в цветном галстуке. Мы познакомились. На его предложение отобедать у него, я согласился. Обстановка у него была комфортабельная. Венская мебель, цветы, американский аристон и гнyтое кресло, в котором Л. кашается после обеда. Кроме хозяйки я застал в столовой еще четырех гостей, чиновников... За обедом подавали суп, цыплят и мороженое. Было и вино...»

#### 1897-ой ГОД

Через семь лет о нем же, о Ландсберге, пишет Дорошевич (стр. 463-473): «Все, что сделано на Сахалине путного и дельного в смысле дорог, устройства поселений, сделано Ландсбергом... Кругом все его ученики. Все, что они пытались делать по своему, осталось невыполненным, заброшенным. Он построил им пристань, которая держалась, выпрямил туннель. Партии, рывшие его с двух концов, разошлись и не знали, как соединиться. На счастье Ландсберга, он был не только талантлив, он был и сапером. И на Сахалине сразу получил от каторги кличку «барина». Он распоряжался работами, командовал партиями рабочих, фактически был начальником, жил не в тюрьме и ему говорили «вы», — почесть на Сахалине редкая. Но это положение было и трудным. Сахалинских служащих, особенно г. К. (опять, наверное, этот Кнохт, смотритель тюрьмы. М. Р.) страшно возмущала «привилегированность» каторжника Ландсберга, и когда этот К. застал его в кабинете одного из служащих сидевшим, «Что? Как? Сидеть в присутствии начальства?» — загремел голос. Ландсберг на хлебе и воде, в кандалах, высидел неделю в темном карцере. Да и каторгу возмущала «несправедливость»: — За то же сослан, что и мы. И каторга возненавидела «барина», «белоручку», «подлипалу». Но Ландсберг умел подерживать отношения и с нашими и с вашими. Начальство бы-

ло довольно, и для каторги он оставался «товарищем», подчинявшимся ее законам. Ловкость, хитрость и изворотливость спасали Ландсберга при всех ситуациях».

Окончив каторгу, Ландсберг превратился в удачливого лавочника. И когда Дорошевич поехал к Карлу Христофоровичу, на мачте его домика развевался флаг паровой компании; он представитель крупного страхового общества, у него контора транспортного общества, он агент пароходства. В лавочке — приказчики, а он только наблюдает хозяйским оком. За сигарой, рассказывает гостю о крупных рыбных и угольных компаниях, которые он затевает.

Ландсберг кончил поселенчество и крестьянство. Теперь он мещанин города Владивостока, иногда выезжает за границу, в Японию, мог бы, будь охота, вернуться в Россию. Женат на очень милой женщине, приехавшей служить на Сахалин. И трудно отыскать более нежную пару.

— Меня — пишет Дорошевич — познакомили с ним в кают-компании «Ярославля». Капитан представил меня высокому, красивому, представительному господину с сединой в волосах. Он — сама предупредительность. Но когда мы встретились глазами, мне показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали... У него играет только одно лицо. «Вы на глаза-то посмотрите!» — со злобой говорили не любящие Ландсберга каторжане и поселенцы: — «смотрит на тебя, и словно ты для него не человек».

... Приняв доставленный ему товар, Ландсберг попросился со всеми, сел в собственный экипаж и приказал кучеру: — Домой! Снова раскланялся со всеми и крикнул начальнику округа: — Так я вас жду сегодня вечером. Новые ноты пришли. Жена вам на пианино сыграет.

И экипаж понесся. — А кучер-то у него, как и он, за убийство с целью грабежа прислан, — сказал Дорошевичу начальник округа: — У нас, батенька, тут много удивительных вещей увидите.

... Когда Ландсберг касается своих каторжных лет, он волнуется, тяжело дышит и на лице его написана злость. А когда говорит о каторжанах, в его тоне вы чувствуете такое презрение, такую ненависть. «С этими негодями не так следует обращаться. Их распустили теперь. Гуманичают». Он говорит о них, словно о скоте. И каторга в свою очередь... выдумывает на его счет всякие страшные и гнусные легенды. Служащие водят с ним знакомство. Он один из интереснейших, богатейших и влиятельных людей на Сахалине, но... Но в разговоре о нем, они возмущаются его спокойствием, будто не он, а кто-то другой это сделал (т. е. зарезал. М. Р.).

Так ли это? — спрашивает сам себя Дорошевич. Все стены в гостиной увешаны портретами его детей, умерших от дифтерита. «Словно наказан!» — сказал Ландсберг, и лицо его стало багровым, он наклонил голову и несколько минут молчал. Потом овладел собой и пригласил Дорошевича к чаю. В столовой лакей из поселенцев, во фраке и перчатках, подавал им чай.

В Россию переезжать он не собирается, но подумывает навестить старушку-мать.

— Тут займусь еще. Должен же я с этого острова что-нибудь взять. Не даром же я здесь столько лет пробыл.

Действительно, словно человек по делам сюда приехал. А «сделал» (зарезал) не он, а кто-то другой, — подводит итог беседе Дорошевич.

\*\*  
\*

Перечитывая этот репортаж Дорошевича, я подумал, каков был бы Ландсберг на Соловках 1922-1929 годов? Не хуже ли Селецкого и Френкеля? Пожалуй, да. На Соловках ему не было бы нужды «поддерживать отношения с нашими и вашими». На Соловках каторжане были робкими. ГПУ перебило им хребты. А на Сахалине царствовал закон каторги. Не жилец тот, кто восставал против него.

---

## Глава 6

### СОНЬКА — ЗОЛОТАЯ РУЧКА

Да кто ее теперь помнить? Может, старики, вроде меня? А ведь гремела едва ли не по всей России в восьмидесятих годах, каких легенд не ходило по градам и весям, по тюрьмам и притонам об этой, как назвал ее Дорошевич, «Рокамболе в юбке». У нас о ней сведения о 1890-м годе от Чехова (стр. 88, 89), о 1897-м годе — от Дорошевича (стр. 390-398) и... о двадцатом веке от М. Вильчура из его книги «Русские в Америке» (стр. 78). Начнем по порядку.

1890-й год

«...Из сидящих в одиночных кандалных камерах Александровской тюрьмы особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн — Золотая Ручка, осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на три года. Это ма-

ленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у ней кандалы; на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплой одеждой и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире; она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана.\*) Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений: убили лавочника Никитина,\*\*) украли у поселенца еврея Юрковского 56 тысяч. Во всех этих преступлениях Золотая Ручка подозревается и обвиняется, как прямая участница или пособница. Местная следственная власть запутала ее и самое себя такой густой проволокой всяких несообразностей и ошибок, что из дела ее решительно ничего нельзя понять. Как бы то ни было, 56 тысяч еще не найдены и служат пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов». То же самое о запутанности дела повторяет через семь лет и Дорошевич.

1897-й год

«Воскресенье. Вечер. Около домика, рядом с Дербинской богачельней, шум и смех. Скрипят карусели. Визжит оркестр из 3 скрипок и кларнета. Поселенцы пляшут трепака. На подмостках маг и волшебник ест горящую паклю и выматывает из носа цветные ленты. Хлопают пробки квасных бутылок. Из окон доносятся крики игроков. Хозяйка этой квасной, игорного дома, карусели, танцклассы, корчмы и кафе-шантана

---

\*) Добавим детали побега от Дорошевича: «Бежала со своим теперешним «сожителем» Богдановым. А по лесу уже погоня. Отряд гнал беглецов по лесу к опушке. А на опушке смотритель с 30-ю солдатами. Вдруг из леса показалась фигура в солдатской шинели. — Пли! Раздался залп, но фигура успела броситься на землю. — Не стреляйте! Сдаюсь!, — раздался отчаянный женский голос. — Не убивайте!».

\*\*\*) Повесили за это убийство каторжника Кинжалова. Вешал Комелев. Он сказал Дорошевичу (стр. 190), что когда читали приговор, Кинжалов все время молился, а затем, когда начали расковырять, лишился чувств.

— «крестьянка из ссыльных», Софья Блювштейн. Всероссийская, почти европейски знаменитая «Золотая Ручка». Во время ее процесса стол улик — ее трофеев — горел огнем от груди колец, браслетов, колье... Я ожидал встречи с могучей преступной натурой, которую не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свист пуль, ни свист розог, кто в одиночке измышлял планы, от которых пахло кровью. А навстречу мне шла маленькая старушка с нарумяненным, сморщенным лицом, в ажурных чулках, в стареньком капоте, с завитыми, крашенными волосами... Рядом с ней стоял высокий, здоровый, плотный, красивый, ее «сожигатель» ссыльно-поселенец Богданов. Мы познакомились. Она говорит, что ей 35, но... На Сахалине упорно держится мнение, что это вовсе не «Золотая Ручка», а «сменщица», а настоящая — там, в России, «работает». Да, это остатки той! — подтвердил я после чиновникам. Портреты «Золотой Ручки», снятые с ней еще до суда, я видел и помню. Все же узнать ее можно. Только глаза остались все те же, чудные, бесконечно симпатичные, мягкие, бархатные, выразительные глаза... По манере говорить — это простая мещаночка, мелкая лавочница, а не светская, образованная женщина, как ее с восторгом описал один из английских путешественников по Сахалину.

...Два года и восемь месяцев эта женщина была закована в ручные кандалы. От них она еще кое-как владеет правой рукой, но левую, без помощи правой, поднять не может... Ее секли в девятом номере тюрьмы. Там, где помещается человек сто, на этот раз набилось человек триста. Наказывали среди циничных шуток и острот каторжан. Каждый крик ее вызывал взрыв хохота. Улыбается и палач Комелев, вспоминая тот день: «Двадцать я ей дал». — Она говорит — больше. «Это я так дал двадцать, что ей могло за две сотни показаться». Блювштейн едва встала и дошла до своей одиночки. Но и там ей не было покоя.

— Только, бывало, успокоишься — требуют. Фотографию снимать.

Это делалось ради местного фотографа, который нажил себе деньги на продаже карточек «Золотой Ручки». Блювштейн выводили на двор к «декорации». Ее ставили около наковальни, тут же расставляли кузнецов с молотами, надзирателей, — и местный фотограф снимал якобы сцену закования «Золотой Ручки». Эти фотографии продавались десятками на все пароходы, приходившие на Сахалин... Главная «замечательность» фотографий в том, что Софья в них «не похожа на себя». Сколько бессильного бешенства написано на лице! Какой злобой, каким страданием искажены черты! Она заку-

сила губы, словно сдерживая ругательство. «Мучили меня тогда этими фотографиями», — говорит Блювштейн.

Во всех местечках Сахалина, на сотни верст отстоящих друг от друга, везде знают «Соньку-золоторучку». Каторга ею, как будто, гордится. Не любит, но относится все-таки с почтением: — Баба — голова!

— Телерича Софья Ивановна больна и никакими делами не занимается, — пояснил мне ее «сожитель». Этот «муж знаменитости» ни на секунду не выходил, следил за каждым ее словом, словно боясь, чтобы она не проронила чего лишнего.

— Мне надо вам сказать что-то, — шепнула однажды мне Блювштейн, улучив минуту, когда Богданов вышел... Мы встретились за околицей, а ее «посланный» за мной остался «на стреме».

— Вы видели, что это за человек, — сказала она о «муже»: — Грубый, необразованный, все что я заработаю — проигрывает, прогуливает. Бьет, тиранит... Бросить его? Вы знаете, чем я занимаюсь и какой народ здесь. В моих делах разве можно обойтись без мужчины? А его боятся: он кого угодно за двугривенный убьет... Если бы вы знали...

— Вы что-то хотели сказать мне?

— Постойте... Помните, я говорила, что хотелось бы в Россию... Не за прежними делами. Я больше не в силах.. Мне только хотелось бы повидать детей.

И при этом слове слезы градом хлынули у «Золотой Ручки».

... Двух дочерей. Живы ли они теперь? Знаю только, что они в актрисах, в оперетте, в пажах. О, Господи! При мне дочери никогда не были бы актрисами... Я знаю, что случается с этими «пажами». Отыщите их. Уведомьте меня телеграммой. Только хоть живы или нет они. Мне немного осталось жить, а спросить о них не у кого, некому и сказать...

Передо мной рыдала старушка-мать о своих несчастных детях. «Рокамболя в юбке» больше не было.

### Десятые годы XX века.

Но Софья Ивановна жила еще долго. дождалась новых хозяев острова — японцев — и в 1906 году то ли за взятку, то ли прикинувшись «революционеркой» оказалась в Японии и потом — в Америке, в Нью-Йорке. Дальше — несколько строк о ней из книги Вильчура:

«...Но Америка, а может быть, годы остепенили «Золотую Ручку». Софья Ивановна все еще с задором вспоминает свои московские приключения, Сахалин и даже Комелева, — но

все это в прошлом, которое рисуется ей в героическом свете. В настоящем же она — самая что ни на есть добродетельная домовладелица в Нью-Йорке на Ист-сайте, дама строгих нравов, с большой склонностью к религиозному ханжеству».

56 тысяч Юрковского ей, видимо, пригодились. Возможно, и дочерей нашла, выписала, устроила, как ни как — нью-йоркская домовладелица...

---

## Глава 7

### МАЙОР НИКОЛАЕВ

Во время оно, в шестидесятых годах жил-был на Сахалине в Дуйском посту, откуда и началась сахалинская каторга, майор Николаев. Чехов (стр. 323) так и не выяснил, какими путями дошел этот неотесанный солдафон из крепостных сдаточных до майорского чина. Семилетние деяния его описывались даже в «Кронштадском вестнике». Николаев еще в 1866 году похвалялся корреспонденту, что зимой часто за бутылку водки или ковригу хлеба доставал от гиляков «пару отличных соболей». Как начальник поста, он «рационализировал» вывозку угля из шахты арестантами, заменив тачки бочками. В эти же бочки он сажал провинившихся каторжников и приказывал катать их по берегу. «С час покатают сердешного, глядишь, точно шелковый станет». Желая выучить своих солдат числам, он прибегал к игре в лото. «За перекличку номеров, кто сам не может, должен платить по гривеннику. Раз заплатит, другой раз заплатит, а там и поймет, что невыгодно. Глядишь, туго возьмется за номера, да в неделю и выучит».

Подобные благоглупости — пишет Чехов — действовали на дуйских солдат развращающим образом: случилось, что они продавали каторжникам свои ружья. Приступая к наказанию одного каторжника, майор заранее объявил ему, что он жив не останется и, действительно, преступник умер тотчас после наказания. Этот случай и положил конец «художествам» Николаева. Майора арестовали, предали суду и приговорили к каторжным работам.

Напоминаем вторично: подобные начальники встречались в первые годы после отмены крепостного права, т. е. за 20-25 лет до того, как на Сахалин приехал Чехов. При тогдашних чиновниках тюрьмы обращались в приюты разврата, в игорные дома, людей развращали, ожесточали, засекали до смерти. Самым ярким администратором тех времен и является этот майор.

## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

### ПОЛИТИЧЕСКИЕ НА САХАЛИНЕ

В мае 1901 года на Обуховском заводе в Петербурге происходили волнения и забастовки. По этому делу, в истории русской революции названному «Обуховской обороной», многие были административно высланы, а 43 человека осуждены судебной палатой в сентябре того же года, при чем два главных зачинщика приговорены к каторжным работам: Анатолий И. Гаврилов — к 6 годам и А. И. Ермаков — к пяти годам. Оба были отправлены на Сахалин морем из Одессы вместе с обычными тяжкими уголовниками.

Через четверть века А. И. Ермаков в журнале «Каторга и ссылка» № 27 за 1926 год на 27 страницах «не мудрствуя лукаво», бесхитростно, не поддельваясь под тон, описал свою и вообще политическую каторгу на Сахалине. Это, кажется, единственный «человеческий документ» на такую тему. О сибирской политической каторге и ссылке опубликовано много воспоминаний и пропагандной беллетристики, а про сахалинскую — только один рассказ Ермакова, да воспоминания Миролюбова, о которых уже сказано.\*) Ларчик открывается просто. На Сахалине в те годы было всего-навсего 43 политических. Поименный список их опубликован вслед за рассказом Ермакова. Из этих 43-х к русским с натяжкой можно причислить около десяти человек, а все остальные — поляки по делу польской революционной партии «Пролетариат», осужденные в восьмидесятых годах прошлого века.\*\*)

Первые страницы воспоминаний отведены описанию тюремного быта в Бутырках, этапу до Одессы, трюмным пере-

---

\*) Да есть еще роман в двух частях Б. И. Еллинского «Под звон цепей» из жизни политических ссыльных на Сахалине, насыщенный литературщиной в отличие от сухого свидетельства Ермакова. Роман опубликован в 1927 г. Всесоюзным обществом политкаторжан.

\*\*) По данным 3-го издания БСЭ на Сахалин за все годы сослано 54 революционера, из них 39 были приговорены к каторжным работам, остальные — к ссылке на поселение. Среди каторжан энциклопедия выделяет «руководителей Обуховской обороны 1901 года А. И. Гаврилова и А. И. Ермакова», тут же добавляя: «Политические каторжники содержались вместе с уголовными, выполняли те же работы, подвергались оскорблениям и телесным наказаниям». Рассказ Ермакова уличает в явной лжи и преувеличениях большевистских историков.

живаниям до Сахалина и первой ночи в карантине.\*) Судя по рассказу, головка уголовного мира не стеснялась свидетелей и во-всю предавалась половым порокам, о чем, между прочим, у Чехова и Дорошевича с трудом можно отыскать только намеки, словно тюремные «Иваны» с прибытием на Сахалин и до перевода в поселенцы, когда появляется возможность «получить бабу», пребывают импотентами.

\*\*  
\*

Рано утром в карантине за чаем слышим: — Товарищи Гаврилов и Ермаков, где вы?...

К нам подошел Борис Иванович Еллинский, студент-медик, недавно закончивший тут восьмилетнюю каторгу. Оказывается, он и Тригони, старый революционер с рядом лет, отбывших в крепости, получили телеграмму встретить и устроить двух новых товарищей, т. е. нас.\*\*) Но Тригони пропуска к нам не дали, опасаясь, как бы он не оказал на нас «скверного влияния».

В Александровской тюрьме начальствовал свирепый Патрин. Недавно он приказал выпороть бессрочника — «вечника» Ф. И. Свидерского. У Свидерского пропали золотые очки, о чем он заявил Патрину. «Что? Политический подозревает моих надзирателей? Дать двадцать розог!». Товарищи выхлопотали Свидерскому перевод в Тымовский округ, где начальник его Соболев либеральничает и снисходит к политикам до того, что даже подает нам руку.

В Александровском округе было всего 25 политиков, громадное большинство из них — старички по делу польской партии «Пролетариат». Их сразу разъединили, разослав по разным селениям. Некоторые живут очень скверно, все время голодают. Другие занялись крестьянством и охотой, живут сносно и несмотря на то, что некоторые уже получили разрешение выехать на материк, в Сибирь, а кое-кто даже в Россию, уезжать не хотят. «Мы с Россией и с родной Польшей, рас-

---

\*) Туда, в Бутырки, Красный Крест прислал ему передачу с банкой варенья. И только доедая варенье, Ермаков обнаружил на дне пять золотых пятирублевиков.

\*\*) Тригони, Михаил Иванович (1850-1917) — народоволец по процессу «20» в 1881 году, отбыл 20 лет в Шлиссельбургской крепости и в 1902 г. сослан на Сахалин... «Сохранил до конца жизни революционные убеждения» (Третья советская энциклопедия) т. е. до захвата власти большевиками, и вскоре умер.

суждали они, порвали все связи. Нам там делать нечего. Здесь мы прожили большую часть жизни — здесь и умрем».

Вскоре после карантина ночью в шторм разбило баржу, с которой грузилась рыба. Из разбитых бочек рыбу разнесло по берегу и всех новеньких выгнали в темень на берег собирать рыбу. «Хлещут волны. Обмерзает одежда. Ледяной корой покрываются усы, бороды. Жутко!... Утром многие лежали в жару и бредили. Их отправили в околосок».

На очередной перекличке вызвали 300 человек для отправки за 75 верст в Тымовский округ, в том числе обоих политиков. На третий день тяжелого пути они добрались до села Рыкова, центра Тымовского округа. Их вместе с краткосрочниками поместили в сырую, холодную и вонючую общую камеру. Некоторым пришлось лезть под нары — не хватало места. «И в такой могиле провести год и даже больше? Жутко. Охватывало отчаяние» — вспоминает Ермаков.

Утром пришли отбирать из этапа мастеровых: слесарей, сапожников, портных и прочих. Они будут жить по мастерским, там условия гораздо лучше. Гаврилов долго приглядывался к начальнику в тулупе и с книгой и, наконец, воскликнул: — Князь Павел, ты ли это?

Опухшими от пьянства глазами князь Павел все же узнал его: — Анатолий!? Какими судьбами? Здравствуй!

Оба расцеловались. Оказывается — однокашники по кадетскому корпусу. Гаврилов потом рассказывал, что князь Павел Максutow, прокутив состояние, в минуту безденежья забрался к родственникам с целью грабежа и зверски с ними расправился. Что значит «зверски», Ермаков не объяснил. Максutow получил 10 лет каторги. Как грамотный, сразу взят в канцелярию с жалованьем в три рубля, а теперь получает 25 рублей (в месяц) и уже «начальство». Максutow ушел и взял Гаврилова вспрыснуть встречу\*), а к Ермакову вскоре пришли два товарища — Свидерский и Адольф Станиславович

---

\*) Не этого ли самого князя Максutowа (только Дмитрия Петровича, может быть, Ермаков запямятовал, спутал?) повстречал Седерхольм (стр. 118, 119) сначала, в 1924 году, на Шпалерной в Петрограде, потом осенью 1925 г. на Соловках? Или это разные лица, но родственники? Тот, описанный Седерхольмом, был громадного роста, и гуляя по камере, плакал и говорил сам с собой. Он был морским офицером, потом перешел в Преображенский полк и по возрасту и по чину вполне мог быть этим «Павлом».

Форминский\*) посвящать его во все мелочи сахалинской жизни.

«Оказывается, политики, хотя их и очень мало, живут между собой не дружно, раскололись на два лагеря: интеллигенцию и рабочих. Эту линию (на раскол) особенно настойчиво проводил Перлашкевич, бывший офицер, не признававший рабочих за политиков и при встрече даже не отвечавший на их поклоны. Работает он все время в канцелярии, выдвинут по службе и получает, как технический надзиратель, 30 рублей. Про Александрина (а кто он — остаемся в неведении) то же наговорили много некрасивого: перекумился с начальством, живет на казенной квартире как важный чиновник, а жена его смотрит на рабочих то же свысока, хотя пост ее — окружной акушерки — не такой уж важный. Александрин стал рыбобромышленником, скупает рыбу и меха и, загораживая реку, лишает поселенцев возможности кормиться, за что они страш-

---

\*) А. С. Форминский, о котором дальше часто говорит Ермаков, осужден на 12 лет каторги по делу «Пролетариата» и выслан на Сахалин вместе с 16-ю однодельцами и с ними трое вольных, очевидно жены.

В той же «Каторге и ссылке» приведена такая выписка из «Журнала политической ссылки», найденного в архиве департамента полиции 80-х годов:

«Сведение от января 1887 г. Живется на Сахалине интеллигенция недурно. Чиновный люд (т. е. приезжие служащие каторги. М. Р.) не прочь водить хлеб-соль. Зарабатывать уроками можно столько, что хватает на удовлетворение насущных потребностей. Каторжная работа Плосского состоит в ведении паспортного списка; вознаграждение за этот труд хотя и полагается, но его не выдают. Квартира из комнаты и кухни с самоваром, водой, дровами и стиркой — 9 рублей в месяц». Дальше приводится «Сведение от мая 1887 г. С прибытием новых жизнь ухудшилась. Постоянно находятся под страхом ожидания скандала с начальством. С новоприбывшими обращаются жестоко, над спиной постоянно висит кнут. Работы принудительные. Бугайского (осужден на 6 лет и 9 мес. каторги) избili плетями до потери сознания, заковали в ножные и ручные кандалы и сутки продержали в карцере за то, что на перекличке не отозвался на свою перевёрнутую фамилию. Политические тут считаются на одном положении с уголовными, но за первыми более строгий надзор... Все страшно нуждаются в средствах к жизни».

При оценке этой информации учитывайте даты: 1887 год, при генерале Гинце, за три года до Чехова, за 10 лет до Дорошевича, за 15 лет до Ермакова.

но злы на него. В с. Рыково только четыре политических, живут они очень недружно. Меня это больно кольнуло».

После «знакомства с обстановкой», Сви́дерский повел Ермакова к Александрину. Встретил он их радушно, накормил, напоил и похвалил им начальника округа. Оттуда Сви́дерский пригласил Ермакова к себе. Он заведывал библиотекой и имел при ней хорошую бесплатную комнату. Жил он вполне свободно, без надзора, и в тюрьму ходил только за пайком и для обмена книг арестантам.

«Утром — продолжает Ермаков — мы явились с визитом к Соболеву. Он встретил нас очень любезно, обменялся рукопожатиями, предложил сесть и курить папиросы. Называл нас господин Гаврилов, господин Ермаков. Расспрашивал нас, как мы думаем жить. С Гавриловым дело уже утряслось. Он сговорился с Максutowым и будет работать в канцелярии. Я, как малограмотный, отказался от предложения Соболева пойти писарем, в душе считая, что революционеру не подобает работать в тюремной или полицейской канцелярии.\*)

Я остался в тюрьме и три недели верст за пять от нее возил дровяник на топливо, потом не выдержал, простудился и забастовал. Поставили меня мыть полы в одиночках. Пол грязный, мокрый. У меня болела спина и кружилась голова. Начальник тюрьмы Кнохт хотел, чтобы я опять возил лес, но не добившись этого, оставил в тюрьме опять мыть одиночки. Дней через пять меня вызвал Соболев».

Соболев снова безуспешно пытался уговорить Ермакова пойти в канцелярию, даже не взирая на малограмотность, потом предложил ему работу «по специальности» — токарничать, но оба согласились на том, что осмотренный ими станок ни к черту не годится — стар и разболтан. Наконец, после долгого раздумья Соболев дал Ермакову записку о направлении к Форминскому на мельницу вести учет муки и досок.

— Хорошо? Довольны? — спросил меня Соболев. Конечно, я был доволен и поблагодарил его.

\*\*  
\*

---

\*) При обходе каторжной тюрьмы, Чехов «прямо в тупике коридора заметил дверь, ведущую в небольшую каморку. Здесь два политических в растегнутых жилетках и чирках на босую ногу, торопливо мяли перину набитую соломой; на подоконнике книжка и кусок черного хлеба. Начальник округа тут же пояснил мне, что этим двум было разрешено жить вне тюрьмы, но они, не желая отличаться от других каторжан, не воспользовались этим разрешением». (Чехов, «Сахалин», стр. 86, 87). Больше политических, кроме Миролюбова, Чехов на Сахалине не встречал.

Форминский заведовал окружной мельницей и лесопилкой из двух круглых пил, на которых работали каторжники. Кормил его Форминский, как блудного сына: жареной на сале картошкой, копченой кетой, яичницей. Засыпая, нахлебник сквозь сон слышит, как хозяин, убирая со стола, тихонько напевает «Еще работы в жизни много, работы честной и святой» (Песнь старых революционеров). По вечерам Ермаков читал ему Сенкевича или слушал о прошлой жизни Форминского на Сахалине. Вначале ему с семьей было трудно, приходилось и голодать. Постепенно положение улучшалось. Дочь теперь уже замужем, остальные дети, то же взрослые, еще учатся в Благовещенске под присмотром матери. «Вот летом увидишь их, приедут сюда, как на дачу».

По праздникам к ним в гости приходили Свицерский и Гаврилов. Гаврилов почти примирился с каторгой, чувствовал себя недурно и не мечтал о побеге. Угнетал его только недостаток денег: жалованье маленькое, от родных получал то же не ахти сколько. Свицерский, наоборот, мечтал о побеге, но именно мечтал. «Мы оба понимали — поясняет Ермаков — что с Сахалина уйти трудно, да и денег у нас не было».

Канторская работа Ермакова была пустяжная: записать в ведомости сколько распилено бревен, заготовлено плах, теса и смолото зерна. Больше времени у него уходило на прогулки, ловлю форелей и чтение книг. Вот так уже три месяца отбывал политический Ермаков сахалинскую каторгу, пока о нем не вспомнил снова Соболев, обдумывая свою идею — устроить окружной ночной приют для бездомных поселенцев, некое подобие ночной богадельни для богодулов его округа. Соболев надеялся таким путем разгрузить притоны и майданы от бездомных и этим уменьшить преступность и облегчить борьбу с ней. Он вызвал Ермакова и предложил ему должность заведывающего ночлежкой, пообещав вместо жалованья — огород, семена и помощь трудом арестантов в обработке огорода. «Работа не из приятных — иметь дело с грязной воровской голытьбой» — записывает Ермаков.

Александрин и Свицерский отговаривали его, пугали, что шпана обязательно ухлопает, хотя бы ради старого пиджака и сапог. «Не связывайся с этой сволочью и самое лучшее — подальше держись от ней» — наставлял Ермакова Свицерский. «Пришлось решать самому: или братья за новое дело или продолжать объедать Форминского, у кого при семье тоже кажлая копейка на учете. Взятся». В тюрьме дали ему сторожа из богодулов (доходяг, по-советски), неспособного к каторжным работам.

Проходили недели. Постройка ночлежки каторжанами про-

двигалась, обуютили хатку и для Ёрмакова. Свидерский и Гаврилов, осмотрев ее, позавидовали и вошли пайщиками в его кухню.

«Но стол наш — признается Ермаков — вопреки ожиданиям от этого не стал богаче. Хлеба и картошки хватало досыта, а мясом и кетой только лакомились. Жили на пайке, т. к. у всех карманы были пустые».

Зимой (1903-1904 года) их кружок пополнился еще одним политическим, переведенным из Сибири Юзефом Кравчиком, будто бы, как уверял их Свидерский, из-за свирепого там режима и начальства. Встретили они Кравчика по-товарищески, приняли в коммуну, даже достали знакомую Кравчику работу переплетать книги тюремной библиотеки.\*) Но он оказался матерым, прирожденным склочником, каждому наговаривал на другого, стараясь их перессорить.

Надежды на осенний урожай 1903 года лопнули. Картофеля, правда, уродилось много, пудов двести, да тюрьма принимала его всего по пять копеек за пуд. Посоветовали Ермакову зарыть ее до весны, когда цена дойдет до 40 копеек. Послушался, зарыл, но картофель в яме замерз и весной оказался один навоз...

В обязанность Ермакова входило следить, чтобы ночлежники не играли в карты, не пьянствовали и утром обязательно уходили со двора. «Да разве уследишь за шпаной! — восклицает Ермаков: — Кучка игроков с задов перелезет через забор, заберется в сарай и играет там на все медные». Дважды сам Соболев заставлял картежников в сарае и за это угрожал посадить Ермакова в карцер.

Вскоре после этой угрозы Ермаков, имея основание, отказался отпустить оставшиеся от постройки доски старшему надзирателю, обозвав всех таких ворами, обкрадывающими каторжан. «Взбешенный Соболев» пообещал лично выпороть за это Ермакова, а тот с улыбкой ответил: — Прикажете

---

\*) Лишь у Дорошевича нашлось упоминание о библиотеке на Сахалине, скорее ироническое: «В библиотеке Александровского лазарета для духовно-нравственного чтения были такие книги: 16 экземпляров брошюры «О том, что ересеучение графа Л. Толстого разрушает основы общественного и государственного порядка», 2 брошюры «О поминовении раба Божия Александра» (поэта Пушкина), 4 брошюры «Поучения о вегетарианстве», 14 брошюр «О театральных зрелищах Великим постом» и всего 5 экземпляров «Нового Завета», и только 2 экземпляра «Страстей Христовых». Вот и все». (Стр. 325).

сейчас снимать штаны? И уже взялся за пуговицы. Вся эта чуть не на страницу описанная сцена отдает не столько наигранностью, сколько бахвальством, и вызывает симпатию скорее к Соболеву, чем к Ермакову. Соболев Ермакова не выпорол, но забрал со стола три нелегальных брошюры и, пообещав завести дело, посадил его в карцер. Начальник острова Ляпунов на рапорт Соболева ответил: — Если надзиратели, действительно воры, то отдать их под суд, если Ермаков оклеветал их, — судить его возможно строже.

Завелось следствие, допрашивали уголовных каторжан и те подтвердили, что старшие надзиратели безжалостно обкрадывают арестантов и их хлебом откармливают своих свиней. Старших надзирателей перевели в младшие, Ермакова выпустили из одиночки в богадельню. А в другой одиночке продолжал сидеть Кравчик. После того, как однажды Сви-дерский чуть не на глазах Ермакова пригрозил убить «этого предателя и провокатора», Кравчик скрылся, обокрал приютившего его поселенца и месяца через два был пойман в тайге. Выяснилось, что политические в Сибири резали, да недо-резали Кравчика, почему он и оказался на Сахалине, где его никто не знал.

\*\*

Началась война с Японией. В Рыково эвакуировали некоторые учреждения. Ночлежный приют превратился в постоянный двор. Соболев без толку суетился и на запросы отвечал: — Да не все ли равно? Скоро придут японцы и всех нас перебьют.

Однако, решено было остров защищать. Стали создавать добровольную дружину из крестьян, поселенцев и каторжан, наобещав разные горы. Первый отряд из каторжан дезертировал в тайгу в обмундировании и с винтовками. Второму винтовок на руки не выдавали, но нацепили на фуражки значки «За веру, царя и отечество». Разнесся слух, будто Перлашкевич тоже вступил в отряд и, как бывший офицер, назначается его начальником. Мы не верили, чтобы человек, боровшийся против царя, вдруг решил защищать царя и каторгу, куда он его послал. Начальником отряда его не утвердили, а только рядовым, но значка с фуражки он не снимал.

«Из-за войны эвакуировали к нам товарищей Тригони и Еллинского с семейством. Еллинского назначили метеорологом, а Тригони, бодрый и жизнерадостный несмотря на каторгу в крепости, работал для Академии Наук: собирал гербарий и ловил разных насекомых и бабочек, гоняясь за ними

с сачком, как мальчик перепрыгивая с кочки на кочку.\*)

\*\*

Прошло еще некоторое время, и Ермакова с Гавриловым срочно вызвали к Соболеву.

«Встретил он нас довольно сухо, — пишет Ермаков: — Должен объявить вам радость... Получено распоряжение освободить вас от каторжных работ.

— Как, переводят в поселенцы? — обрадовались мы. «Нет, в крестьян, — ответил Соболев: — Вы помилованы и можете возвращаться в Россию».

Он пожал нам руки и предупредил: — Поторопитесь. На днях в Николаевск уходит в последний рейс военный катер с пленными японцами.

С некоторой проволочкой (на целую страницу. М. Р.) разрешилась и проблема оплаты пути домой. Ермакову каторга заплатила «громадную сумму» в сто рублей за огород и посева. В полицейском управлении им выдали паспорта как «уволненным крестьянам из ссыльных с отбыванием пятилетнего полицейского надзора».

Так проходила и закончилась их двухлетняя каторга, кое в чем немножко похуже, кое в чем немножко получше «каторги» для остальных политических, считая с девяностых годов прошлого века и до последнего дня каторги на Сахалине.

Уже значительно позже, в 1907 году от жены Еллинского Ермаков узнал, что японцы, прибыв в Тымовский округ, перебили часть чиновников и уголовных. Политическим предложили выбор: в Японию или на материк. Кравчик и Свидерский и, очевидно, с ними же Сонька-Золотая Ручка уехали в Японию, остальные политические — в Сибирь. Тригопи после разрешили уехать в Крым, в имение брата на ст. Бельбек (где он умер в 1917 г.). В газетах от 1906 года писалось о каком-то столкновении Перлашкевича с «сибирским усмирителем» Ренненкампфом.

Перечитав еще раз воспоминание Ермакова, не перестаю удивляться, из каких же соображений начальник Главного тюремного управления Галкин-Врасский предписал генералу барону Корфу не допускать Чехова (а потом — Дорошевича) до какого-бы то ни было общения с политическими на Сахалине? По сравнению с уголовными, политическим в описанные

---

\*) Как видно из этого примера, на Сахалине был в зародыше свой микроскопический СОК, предтеча более зрелому и обширному соловецкому СОКу.

Ермаковым годы жилось на Сахалине куда легче, чем многим уголовным до каторги на воле. 43 политических среди двадцати тысяч каторжан и поселенцев, т. е. бывших каторжников, затерялись, как иголки в сене.

По условиям мирного договора с Японией, Россия обязалась убрать и в 1906 году убрала каторгу с острова. Правительству пришлось вновь открывать центральные каторжные тюрьмы в Европейской России (Сиб. Сов. энциклопедия, том второй). Левая пропаганда получила лишний повод кричать о «разгуле репрессии». В БСЭ второго издания в статье о каторге в одном из абзацев «поясняется»: «Развитие капитализма в России... сопровождалось усилением репрессий, в особенности к политическим преступникам, которые все чаще ссылались на каторгу. Главным местом отбытия каторги были Нерчинские рудники и Сахалин».

О Сахалинской каторге судите по «человеческому документу» Ермакова. Подобные материалы не раз печатались в журнале «Каторга и ссылка». Они послужили одной из главных причин закрытия журнала. (Последний № 116-й вышел в 1935 г.). Во втором издании БСЭ ему дана такая официальная оценка: «Публикуемый материал носил субъективный характер, без научного подхода». А «научный» не подход, а ПОХОД, выразился в том, что вслед за журналом закрыли и Общество политкаторжан и затем взялись за его активных членов: кого в Норильск, кого в Колыму, кого в Ухтпечлаг. С ними расправились не нюхавшие каторги, зато съевшие собаку на оголтелой пропаганде. Знаю откуда, как и когда началась травля журнала, однажды побывал на бурном собрании этого общества (летом 1926 года), но кого теперь это интересует?

---

## ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

### ССЫЛКА ПОД НАДЗОР АРХИМАНДРИТОВ

Задолго до нас, советских соловчан и Солженицына, еще в 1903 году много горьких слов о прошлых тюрьмах при монастырях и о главной из них при Соловецком, рассказал известный знаток истории монастырских заточений А. С. Пругавин. «ПЕЧАТАТЬ ДОЗВОЛЯЕТСЯ», помечено первым июня 1904 года на его книге цензором Петербургского Духовного Цензурного комитета, иеромонахом Александром. Еще раньше, в 1887 и в 1888 годах о том же самом, о соловецких казематах и узниках, писал очерки в журнале РУССКАЯ СТАРИНА (изданы книгой в 1908 г.) М. А. Колчин, фельдшер Соловецкого монастыря. Писатель Немирович-Данченко, брат известного драматурга, в 1875 году посетивший Соловецкие острова, описал и монастырь, и монахов, и тюрьму с ее двумя узниками (см. главу в первой книге о Горьком и Пришвине на Соловках).

В статье в «ЧТЕНИЯХ в обществе истории и древностей Российских при Московском Императорском университете» за 1880 год (кн. № 3) член этого общества преосвященный Макарий, епископ Архангельский, рассказывая по документам обстоятельства ссылки и пребывания в соловецкой тюрьме недавнего всесильного начальника тайной канцелярии Петра Первого, графа Петра Толстого с сыном Иваном (1727-1729 гг.), так рисует читателям это место:

«... Надо заметить, что Соловецкие острова в то время, как и ныне, считались ничем не лучше, если не хуже отдаленных краев Сибири. Поэтому в Соловецкий монастырь очень не редко посылались НА ЖИТЕЛЬСТВО С БРАТИЕЙ В ТРУДАХ (разрядка моя. М. Р.) или для заключения разные преступники. Для посылаемых в заключение существовало в монастырских стенах множество тюрем, устроенных в земле и на земле, совершенно темных, холодных, и сырых, и с некоторым светом и теплом».

Перечислив основных дореволюционных авторов о «побочном» использовании монастыря, перейдем теперь к современным исследователям прискорбной стороны его прошлого. Их всего два (не считая Д. Венедиктова, по-моему, дешевенького, хотя и «ученого» атеиста, судя по одним заглавиям его работ.): профессор М. Н. Гернет и профессор Г. Г. Фруменков. Оба они в своих работах пользовались опубликованными дореволюционными материалами, особенно Гернет. Фруменков, однако, сверх того лично годами рылся в когда-то се-

кретных архивохранилищах Ленинграда, Москвы и Архангельска, и его труд является наиболее полным. Да есть еще одна небольшая книжонка А. П. Иванова, изданная в 1927 году Соловецким обществом краеведения, т. е. концлагерем, СОЛОВЕЦКАЯ МОНАСТЫРСКАЯ ТЮРЬМА. Автор ее — заключенный из послушников-расстриг какого-то епископа, известный солдовчанам 1923-1926 годов под прозвищем «Антирелигиозная бацилла» за его безграмотные атеистические лекции. Он же, раздувая слухи о якобы больших ценностях и всяких пыточных приспособлениях, будто бы спрятанных монахами, добился того, что начальство передало под его команду Раскопочную комиссию, которая, к слову сказать, ничем не порадовала лагерных генералов: ни ценностей, ни пыточных орудий она не отыскала. Можно согласиться с оценкой этой книги Фруменковым:

«Приходится признать, что эта единственная в советский литературе сводная работа по соловецкой каторге не вносит в разработку вопроса ничего нового, если не считать вымыслов автора, вроде того, что в соловецком остроге одно время содержались декабристы Ф. П. Шаховской и В. Н. Бантыш-Каменский,\* а их единомышленник А. С. Горожанский был выслан в монастырь за участие в Казанской 1876 года (?) демонстрации. В целом, работы Иванова представляют собой довольно свободный перифраз книги М. А. Колчина с примесью досужей фантазии автора. Иванов делает умозаключения часто по наитию, к немалому ущербу научной точности».

Сверх возможностей стараясь придерживаться «научной точности» в ее партийной интерпретации, Фруменков сам опошляет ее, называя «однобокой, неполной» характеристику монастыря прежними историками, считавшими монастырь «крязистым и рачительным феодальным хозяином, пограничной крепостью, колонизатором и распространителем христи-

---

\*) Из книги Иванова эти имена перекочевали в известную после Второй войны работу Д. Ю. Далина и Б. И. Николаевского ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В СССР, изданную на многих языках. Оба эти декабриста по болезни были переведены из сибирской каторги в Спасо-Евфимьевский монастырь в Суздаль, где вскоре умерли и там же похоронены: Шаховской — 24 мая 1829 года в возрасте 34 лет и Бантыш-Каминский — 22 января 1829 года в возрасте 51 года. (См. Пругавин: В КАЗЕМАТАХ..., СПб, 1909 г.), Пидгайный тоже «слыхал звон...», но вместо этих декабристов назвал двух других князей: «Трубецкого и Волконского, через два года — в 1827 г. — умерших на Соловах»... (стр. 67 на английском).

анства, культурным центром». Непонятно, кого именно подозревает в этой «однобокости» автор. Ни один русский историк, включая Карамзина, Костомарова и Соловьева, не скрывал, что кроме этой «однобокости» у монастыря за многовековую историю было не мало и темных страниц, когда он, выполняя волю Святейшего Синода и государей от Грозного до Александра Второго «оставил по себе мрачную, кровавую память в сердцах многих тысяч русских людей» (Пругавин, стр. 91).

Вот только эту «память» на 189 страницах большого формата и печется в 1970 г. освежить и вдолбить читателю советский историк. Надо отдать Фруменкову должное: многие годы он, «пыль веков с архивов отряхнув», изучал дела наказанных Соловками. «В общей сложности изучено в разных архивохранилищах более пятисот «личных арестантских дел» начиная с 1554 года и по 1881-й, т. е. больше чем за 300 лет. Из этого числа «дел» почти половина приходится на 18-й век, т. е. на годы царствования Петра Первого, Екатерины Первой, Петра Второго, Анны Иоанновны, Елизаветы, Петра Третьего, Екатерины Второй и Павла Первого.

Это был век великих дворцовых переворотов, временщиков и фаворитов, век распри между боярскими и княжескими родами, церковного раскола и роста сектантства. Руться среди всех двухсот «личных» дел в поисках «рыцарей чести», жертв высоких идей мы воздержимся. Но кое с кем из пострадавших в своем месте познакомим читателя. Фруменков утверждает, что его мартиролог содержит свыше четырехсот имен. Возможно. Только надо помнить, что под этим словом понимают «перечень жертв преследований, гонений или перечень страданий, перенесенных кем-либо», т. е. не обязательно мертвых.

Между тем, историк этот под мартирологом понимает, видно, только мертвых, иначе он не стал бы строкой ниже (стр. 10-я) пояснять: «Почти все арестанты окончили жизнь в казематах монастырского острова». Насколько такое утверждение далеко от истины, читатель может судить сам, ознакомившись дальше с судьбой десятков наиболее важных узников. Почти все они списаны с книги Фруменкова. Он противоречит сам себе.

Прежде чем рассказывать о них, освежим в памяти всю историю об использовании монастыря, как места изгнания или наказания неугодных власти и церкви лиц.

Соловецкий монастырь был основан в 1437 году. Однако прошло полтора века, пока он наконец-то был обнесен каменной стеной с семью башнями, превратившись одновременно

в военную крепость русского государства на севере (1584 г.). До Петровских времен, (1682-1725 гг.) ссылка на Соловки носила случайный характер и практиковалась редко, хотя право запирать в монастырь тогда имели кроме царя и патриарха также митрополиты и архиереи.

Сюда ссылали «под начало» и «под караул». Первая форма была менее строгая, чем вторая, и всегда сопровождалась обязательными работами по монастырю на его нужды, часто даже указывалось, какими именно. Богатые и знатные (кроме особо секретных арестантов) могли откупаться от работ, привозили с собой перины, подушки, могли носить свою одежду, даже имели в услужении крепостных (В. Долгоруков, А. Жуков, П. Салтыков). Обычные рядовые ссыльные спали на войлоке и на подушке из оленьей шерсти.

В монастыре, пишет Фруменков (стр. 24), пищей не баловали: кормили «только хлебом слезным» (черствым) и водой. Такой паек, например, был назначен раскольнику Яковлеву в 1735 году, доставленному в Соловки после нещадного бития кнутом, с вырезанными ноздрями, и все же он, закованный в ручные и ножные кандалы, прожил в одиночке семь лет. Некоторых арестантов даже водой и хлебом предлагалось кормить «умеренно». Пытавшимся бежать и пойманным снижали хлебную выдачу, чтобы они не сушили сухари для очередного «сбегу». «Пища была грубая и скудная, — подтверждает Пруганин (стр. 85): — Арестанты радовались как дети, когда им приносили свежий, мягкий хлеб».

Иным сверх этого «пайка» выдавали щи и квас, с оговоркой: «а рыбы не давать никогда». Важные «секретные арестанты» получали кормовые деньги на руки и караульные солдаты покупали им продовольствие. Питание вначале шло за счет монастыря и за счет МИЛОСТЫНЕЙ БОГОМОЛЬЦЕВ (разрядка моя. М. Р.). А нуждавшиеся получали небольшой заработок от продажи их изделий богомольцам. Эти изделия продавал сам монастырь в своей лавочке. Паломники навещали монастырь летом, и тогда режим для узников был более строгим. Они сидели под замком в своих «чуланах» и казематах. Зимой «чуланы» не запирались и арестанты могли выходить на кремлевский двор за водой, дровами, обедом, встречаться и спорить по вопросам веры. Не редко эти споры между сектантами разных толков заканчивались потасовкой.

Только со второй половины 18 века заключенным стали назначать продовольственный паек «против одного монаха», т. е. иноческую норму, но сколько в ней было хлеба, овощей, крупы, рыбы, масла, все историки хранят молчание. Монашеский оклад тогда составлял 9 рублей в год. Из этого расчета

правительство и рассчитывалось с монастырем за питание и одежду арестантов. Все документы об этих расчетах полностью и в порядке хранятся в архангельском архиве и по ним можно точно определить число узников за каждое полугодие. Фруменков не воспользовался этой возможностью, удовлетворившись разрозненными полугодовыми ведомостями архимандритов Синоду.

Зато на стр. 130-й находим у него интересующие нас данные за прошлое столетие: «В начале XIX века правительство выплачивало монастырю за каждого арестанта по 20 рублей в год, с апреля 1811 года — по 50 рублей, с января 1820 г. — по 120 руб. (36 руб. серебром) и с июня 1835 г. — по 160 руб. (48 руб. серебром)». Сверх того, в монастыре имелись кружки «для христоролюбивого подаяния» паломниками на содержание узников. Впрочем, в книге отмечены два случая, когда оборотистые настоятели монастыря зачисляли такие пожертвования в графу «свечной» доход»...

Фруменков утверждает, что арестанты получали мизерный паек и голодали: «на день фунт черствого заплесневелого или пополам с квасною гущей хлеба, щи, рыба и каша из залежавшихся и недоброкачественных продуктов». Арестанты в это время, как и раньше, питались с монастырской кухни по норме монахов тем, что оставалось после трапезы, порою от трапезы прошлых дней. Ведь монастырь слыл за «рачительного хозяина» и в помойку не выбрасывал, что оставалось в котлах. Но на этом основании утверждать, как делает Фруменков, будто «монахи бессовестно обворовывали ссыльных, наживаясь на счет страдальцев» по меньшей мере недобросовестно. Те, что «под началом», сами получали пищу, а на одном-двух десятках содержавшихся в остроге, монастырь с двумя-тремя сотнями монахов, а летом с тысячами богомольцев и круглый год с сотнями трудников «нажить» на них никак не мог.

«Строгость режима — пишет Гернет (кн. 1-я, стр. 278) — менялась при различных настоятелях, одни из которых были сторонниками строгости, а другие были более мягки. В зависимости от режима, примененного к тому или иному узнику, менялось и его питание».

Очевидно, возражая на это Гернету, Фруменков пишет (стр. 28):

«Добрых тюремщиков среди настоятелей монастыря не было. Они добровольно и ревностно выполняли обязанности жандармов».

Не воспользуюсь проторенной другими дорожкой. Обойдусь без передергиваний, недомолвок и прилизывания, хотя

за это предвижу придется поплатиться. Не дам повода изрыгать на меня проклятия и советским историкам. Сразу же процитирую дословно их печатный поток желчи против религии и соловецкой тюрьмы особенно потому, чтобы в дальнейшем не повторять его:

«Разоблачение злодеяний Соловецкого монастыря должно содействовать улучшению атеистической пропаганды... Палацкие обязанности монастырь выполнял около четырехсот лет... В земляных ямах, в крепостных казематах гноили, доводили людей до умопомешательства... По жестокости режима соловецкий острог не имел себе равных... Сами цари замуровывали туда опасных врагов абсолютизма... Острог был также основной тюрьмой духовного ведомства, пока в подмогу не возникло «арестантское отделение» в Суздальском Спасо-Евфимьевском монастыре, самом вместительном...»\*)

Не упустили рассказать про «лобное место» в кремле, ни Фруменков, ни Гернет, дословно повторив, что о нем опубликовал Колчин в 1888 г. (См. Гернет, кн. 1-я, стр. 277): «Много в этом несчастном месте истрепано плетей, изломано багатов и березовых прутьев; много изуродовано человеческих спин, изорвано у несчастных жертв кожи и мяса».

---

\*) Этот монастырь, даже более древний, чем Соловецкий, с 1767 г. стал центральным местом содержания душевнобольных колодников, но уже в начале XIX века здесь содержались и не умалишенные. По первому списку в 1777 году тут находилось 27 душевнобольных. С 1801 по 1835 год поступило 88 осужденных, из которых у 28 причиной заключения указано безумие, у 22 — непристойное поведение, три политических и т. д., словом состав узников мало чем отличался от соловецкого. Разница состояла в том, что по внешнему и внутреннему виду, да и по режиму тоже, тюрьма в Суздали была значительно лучше соловецкой. В одиночных камерах стояли койки с матрасами, одеялами, подушками, со столом и табуреткой и обычным окном. Снимок внешнего вида тюрьмы и внутреннего вида камеры напечатан у Гернета в кн. 1-й на стр. 280 и в кн. 2-й на стр. 465.

Между прочим, в Спасо-Евфимьевский монастырь был переведен из Восточной Сибири декабрист князь Ф. П. Шаховской, как душевнобольной. Для вторичной проверки его душевного состояния и условий содержания, туда в 1829 году был командирован некто Брянчанинов. Он подтвердил как болезнь Шаховского (причислявшего себя «к лику святых»), так и хорошие условия его содержания «в предоставленных ему трех комнатах». Меньше чем через три месяца по прибытии в монастырь, Шаховской скончался.

За 400 лет-то, еще бы! Сектантам и раскольникам, стоявшим на своем до иступления, в монастыре противостояли монахи, упорные в той же степени в своем православии. Эсцессы были, не могли не быть! Далеко от Соловков в те века опричники Грозного будто бы запрудили полноводный Волхов телами новгородцев; Петр Первый на всех дорогах к Москве развесил на виселицах непокорных стрельцов, на Красной площади сам помогал сечь головы, на Варварке пытали астраханских бунтовщиков, десятки их скончались от пыток, протопоп Аввакум пытал на костре, в Испании инквизиторы тысячами пытали подозреваемых в отступничестве от католицизма, в Америке шли процессы ведьм... А пугачевщина, разинщина, бироновщина, холерные бунты? Жившие в те времена не страдали «мировой скорбью» о судьбах десятков и сотен тысяч «на просторах родины чудесной», а тем более о судьбах единиц на Соловках. Пока над соловецкими соборами высились кресты и по острову разносился их благовест, в монастыре все же не знали слова этап. Доставляли одиночек, по два, по пять, много—по десять человек за всю навигацию, а в среднем за всю историю монастыря — в год по одному «под караул» или «под начало для строгого смирения». А богомольцев ежегодно тысячи!

В кремле было семь башен (по Фруменкову — восемь). На запрос Синода в 1742 году архимандрит признал наличие земляных тюрем в башнях: Корожной, Головленковой, у Никитских ворот и в Салтыковой, да имелись еще тюрьмы под келарской службой и под Преображенским собором. Вот размеры тюрем, указанные архимандритом и признанные историками: в Корожной длиною и шириною в 4 аршина (2 м. 85 см. на 2 м. 85 см.), в Головленковой, первая — длиною 5 аршин и шириною 4 аршина (3 м. 55 см. на 2 м. 85 см.), вторая, как в Корожной: 4 на 4 аршина, у Никольских ворот: первая — около 4 арш. длиною и чуть больше 6 арш. шириною (2 м. 85 см. на 4 м. 26 см.) и вторая длиною 5 арш. и шириною около 6 арш. (3. 55 см. на 4 м. 26 см.) и, наконец, в Салтыковой — длиною 6 арш., шириною менее 3 арш. (4 м. 26 см. на 2 м. 13 см.).

При таких размерах эти тюрьмы могли быть устроены или под башнями, или перед башнями. В самых башнях и в городской стене имелись только маленькие одиночки, казематы, вот эти самые «каменные мешки». Фруменков утверждает (стр. 14), что более трех аршин в длину (2 м. 13 см.) их нельзя было сделать (да и не требовалось по тому назначению — хранить боеприпасы — для которого их построил зодчий-монах Трифон). По Богуславскому (стр. 104) каменные мешки

или казематы в Головленковской башне были большего размера, чем указывает Фруменков: один «каменный мешок» имел глубину 2,25 метра, другой 3,1 метра, а их наибольшая ширина — соответственно 3,7 и 3,3 метра. «Мешки» находились в глубоких сужающихся нишах внутри валунной кладки, с нависающим потолком и вентиляционной щелью. Тут «антирелигиозная бацилла» Иванов в 1925 году будто бы нашел полусгнившие человеческие кости, но историки Гернет и Фруменков не воспользовались для своих работ этим «кладом» и, очевидно, не без оснований.

Земляные тюрьмы появились много позже Трифона, когда стали присылать арестантов с указом «заклечь в земляную тюрьму, неисходно, до кончины живота, под крепким караулом». Особенно предпочитал эту форму наказания, как замену смертной казни, Петр Преобразователь. Он сам дважды навещал Соловки: в 1694 и в 1702 году с флотом против шведов. «Петр со своей свитой в 1702 году — пишет Богуславский (стр. 132) — неоднократно был в монастыре, осматривал ризницу, Оружейную палату, монастырские службы и ТЮРЬМЫ (разрядка моя. М. Р.), посетил кирпичный завод». Следовательно, царь на месте убедился, что его указы о заточении в земляные тюрьмы (тогда и были только такие) исполняются неукоснительно. Эта деталь Фруменковым и Гернетом обойдена молчанием. Тут же на пригорке за бухтой Петр поставил каменный столб с указанием, сколько верст отсюда до Венеции — града (3900), Мадрида, Рима, до Камчатки, Вены, Лондона и Берлина. При нас, в двадцатых и тридцатых годах, этот столб еще стоял с потускневшими надписями, а потом кому-то помешал. Богуславский, не упоминая тут Петра (стр. 8), даже подыскал исчезновению столба успокаивающее пояснение: «Но ведь теперь расстояния на нашей планете перестали быть так пугающе огромными, как это было раньше». Таким «довеском» он навязывает читателю мысль, будто столб и надпись — дело рук монахов, а не Петра Первого.

Последний правительственный указ о заключении в земляную тюрьму издан 7 июня 1739 года относительно князя Мещерского, а через три года последовал особый указ монастырю засыпать все «монастырские ямы для колодников». Такие тюрьмы представляли собой в земле яму глубиной до 2 метров, обложенную по стенам кирпичем, а сверху покрытую дощатым настилом, на который насыпалась земля. В таком погребке на охапке сена без печки (а может была?) не переживешь. Между тем, историки не скрывают, что в таких условиях узники жили годами и даже десятилетиями, да еще «опущенные туда закованными в железа или с вырванными

ноздрыми». Что-то важное замалчивают тут историки, да и «желез» — кандалов, цепей, ошейников для соловецкого антирелигиозного музея почему-то не отыскали. Советским историкам полагалось бы поместить их снимки, а не снимки орудий из материковых тюрем, хранимых в разных музеях Ленинграда (Гернет, книга 1-я, стр. 336, 340). Очевидно, не сберегли их монахи для концлагерного «антирелигиозного музея».

В 1758 году сам Сенат отправил нарочного в Соловки проверить на месте, засыпаны ли «погреб», и если нет, чтобы сделали это на его глазах. Колодников же из них приказано было поместить «куда пристойно». Так официально закончилась эпоха земляных казематов, хотя Фруменков считает, что казематы эти все еще использовались, не приводя для этого достаточно убедительных фактов. «Пристойными» для узников земляных погребов тогда могли оказаться лишь несколько более легких тюрем под братскими кельями, в частности «Антоновская тюрьма» южнее Святых ворот. В ней в 1727 - 1729 годах содержался граф Петр Толстой с сыном, а с августа 1730 года его заклятый враг князь Василий Долгоруков, позже, в 1739 году вывезенный в Новгород и там обезглавленный.\*)

В те времена, в восемнадцатом веке, на Соловках редко когда содержалось более двадцати узников. Присылали больше «под начала», т. е. не в тюрьму, а на жительство с монахами под их присмотром и «вразумлением». Тогда архимандриты не ломали голову, куда поместить присланных. Мест хватало. Фруменков просто хитрит, когда пишет (стр. 10): «Нельзя назвать не только точного, но даже приближенного числа башенных и внутрстенных казематов. Монахи утаивали такие данные от столицы и губернского центра». Не иглолки эти казематы и «каменные мешки». У Фруменкова после войны было целых 25 лет на осмотр башен и стен, чтобы подсчитать и опубликовать, сколько же их оказалось. Да он, наверное, и осматривал кремль, но предпочел утаить эти данные, чтобы не нарушать «стройность изложения», ограничившись перечислением десятка «погребов» и казематов.

Наименьшее число заключенных падает на восемнадцатый век, и потому историки ограничиваются только двумя отче-

---

\*) В семидесятых годах прошлого века Архангельский вице-губернатор в местной газете опубликовал часть архива о ссылке на Север и в Соловки, в частности материалы о ссылке князя В. Л. Долгорукова. Вот и еще одно доказательство того, что ссылка на Соловки давным-давно стала достоянием гласности и печати.

тами о численности узников: в 1742 году их было 16 человек, в 1786 году — 15. Это цифры Колчина и Гернета. Фруменков называет цифру арестантов в 1742 году в 24 человека, считав, по всей вероятности, в арестантов и присланных «под начала со строгим присмотром». Он же утверждает, что в ямах и в казематах в 18 веке перебивало около половины всех ссыльных на Соловки, оставив историкам много «ссыльного материала». Наибольшее число заключенных было в девятнадцатом веке, а именно (Гернет, кн. 2-я, стр. 486): в 1801 г. — 14 чел., в 1826 уже 30, в 1830 — 45, в 1832 — 43, в 1835 — 50, но в 1855 только 19 чел., а в 1883 — вообще ни одного.

Вот тогда, в конце 1798 года, чтобы облегчить охрану расseyанных по кремлю и башням арестантов, монастырь приспособил для них нижний этаж иконописной и чоботной (сапожной) палат, построенный в 1618 году. Здесь, в северо-западном углу кремля, примыкавшем к Корожанской башне, и родился соловецкий острог, просуществовавший до 1886 года. «Каменные мешки» в крепостных стенах в 17 и в 18 веках, также как в 20-м при Ленине, Дзержинском и Ногтеве, служили только местом временного наказания — карцерами — за проступки монастырских и советских арестантов. Ниши в стенах были настолько малы, что на самом деле в них нельзя было ни стоять, ни сидеть, ни лежать вытянувшись, за исключением немногих в самих башнях, в нижних ярусах, носивших название не «каменного мешка», а каземата.

В первом этаже острога устроили одиннадцать или двенадцать камер или, как тогда говорили, арестантских чуланов. Позднее, в 1828 году, когда арестантов прибавилось, очистили для них и второй этаж, разгородив его так, что образовалось 16 дополнительных чуланов. В 1842 году надстроили еще и третий этаж, устроив в нем по Фруменкову девять чуланов, а по Богуславскому — пять. Гернет о числе чуланов на 3-м этаже не пишет. Инвалидная команда, ютившаяся вдоль коридора второго этажа, т. е. в положении чуть лучше арестантского, в 1837 г. перешла по соседству с тюрьмой в новое, построенное для нее и обер-офицера здание. Оба советских историка называют первый этаж подвальным, а второй — вторым, вопреки, казалось бы, простой логике. Стены первого этажа были значительно толще, чем второго, размеры окон в нем были много меньше, воздух сырее, но все же такая разница не дает право называть первый этаж подвальным. Не делают историки ясной оговорки и о том, что с постепенным уменьшением числа узников в остроге, арестантов переводили из первого в более сухие, светлые и теплые камеры верхних этажей. За последние 13 лет (1870-1883

гг. ) заключенные содержались только в третьем этаже.

В 1886 году Соловки посетил командующий Петербургским военным округом великий князь Владимир Александрович. Осмотрев пустой острог, он признал присутствие в монастыре воинской караульной команды совершенно излишней и приказал перевести ее на материк. Последние политические — Потапов и Григорьев — уже четыре года, как выбыли на материк. Даже за десять лет до приезда великого князя в остроге, по словам Немировича-Данченко, оставалось всего двое арестантов и двое «не в роде арестантов». Об этих двух «не в роде» подробнее сказано в первой книге в главе о Пришвине (стр. 229-я). Опустевший острог в 1903 году был передан монастырю. В нем открыли больницу для монахов и богомольцев и несколько келий отвели схимникам. В караульном здании устроили квартиры для врача и фельдшера, там же разместили аптеку. В концлагерный период в бывшем остроге и потом монастырской больнице помещался кремлевский лазарет и мертвецкая, в которой в период тифозных эпидемий, рассказывают, умершие соловчане лежали один на другом. В 1932 году весною из любопытства я заглянул в древнее окошко морга. На деревянном настиле вроде нар лежал в своем костюме покойник, внешне — из интеллигентных старичков. На Соловках мертвецов видел только во сне, а так, чтобы вблизи, на яву, на ощупь, с мясом и костями, как этого — больше на острове не довелось. Потому и запомнил.

Из всего до сих пор изложенного должно быть ясным, что подавляющим большинством среди присланных «под караул» и «под начала для строгого смирения» было духовенство, раскольники и сектанты, т. е. осужденные по делам веры. Подначальные жили вместе с монастырским населением и обязаны были работать на обитель. К каждому подначальному прикреплялся монах для исправления пороков или заблуждений и наблюдения за ним, чтобы не сбежал. Историки не особенно интересовались детализацией этих групп по социальному положению и видам расколичества и сектантства, хотя имели все данные для этого. Поэтому нам придется ограничиться далее приведенной характеристикой ссыльных Пругавиным и добавить сейчас к ней, как подтверждение, отдельные цифры, оброненные советскими историками. Так, с 1806 по 1825 год т. е. за 19 лет, на Соловки, по сведениям Колчина, было прислано для наказания 27 человек, из них, по подсчету Гернета, (кн. 1-я. стр. 279) только один за чисто уголовное преступление, а все остальные — по делам веры. Дальше, из его второй книги (стр. 486) узнаем: в списке 1826 года из 30 фамилий 29 были заключены за разные религиозные престу-

пленя, в большинстве за скопчество; из 45 заключенных в 1830 году 36 чел. содержались по делам веры, 5 — уголовных, 3 — политических и один — за «сварливый нрав»; из 19 заключенных в 1855 году за религиозные преступления содержалось 18 человек и только один за смешанное: за религиозное и уголовное.

Несмотря на то, казалось бы жуткие по описаниям всех историков условия заточения, многие узники выдерживали их десятилетиями, доживая буквально до Мафусаилова возраста. Тот же Гернет во второй книге приводит много подобных примеров. Так, в списке содержавшихся на Соловках в 1855 году были узники с 1812, 1818, 1822 и других ранних годов. «Ветераном был крестьянин Семен Шубин, в тюрьме за старообрядчество и богохульство. Он пробыл в заключении 63 года, достигнув 108 летнего возраста. В 1880 году, через несколько лет после освобождения, умер крестьянин Антон Дмитриев, осужденный за оскотление себя и своего помещика графа Головина. Он просидел в Соловках 65 лет и умер, перешагнув столетний возраст. Последний кошевой атаман Сечи Запорожской Петр Кальнишевский просидел в каземате Головленковской башни 16 лет (но не 26 лет, и не в земляной тюрьме под Успенским собором, как пишет Пидгайный на 67 странице), и освобожденный уже глубоким старцем не захотел покинуть монастырь. И умер там, достигнув 112-летнего возраста. Его могила стала местом паломничества украинцев-соловчан. Фруменков без доказательств просто отрицает, как дореволюционную легенду, будто тюрьма в монастыре построена по просьбе Кальнишевского в ответ на запрос царя, чего он, атаман, хочет за безвинно понесенные страдания: «Пусть царь-батюшка прикажет выстроить для преступников настоящую тюрьму, чтобы они не маялись, как я, в душных казематах крепости». Между прочим, на питание Кальнишевскому выдавалось из его средств (как и князю Долгорукову) по рублю в день, — очень большая сумма по тем временам, достаточная, чтобы ежедневно насыщать десяток узников. Неизвестно (или скрыто историками) из побуждений ли веры или в благодарность за некоторые возможные послабления в режиме, Кальнишевский перед смертью пожертвовал монастырю Евангелие стоимостью в 2435 рублей и весом в 34 фунта, изготовленное в Москве серебрянных дел мастером. На его же деньги монастырь отремонтировал протекавший каземат Головленковской башни, где Кальнишевский содержался. Освободили его уже слепым старцем, чем, по-видимому, и объясняется желание кошевого атамана провести последние дни жизни на Соловках.

Щедрый на пропагандные жупелы, Фруменков заканчивает книгу главой на 47 страницах ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЗНИКИ (монастыря) В XIX ВЕКЕ. (стр. 141 - 189). Сколько же их оказалось? Хватит ли места перечислить лишь их фамилии? О да, с избытком! Начнем по порядку:

1 - 2. Двое из кружка братьев Критских, Михаил Критский и Николай Попов, близкие по образу мыслей к декабристам, сосланы на Соловки в двадцатых годах XIX века. В октябре 1839 г. обоих отправили рядовыми в Мингрелию. Критский вскоре был убит в сражении с лезгинцами, о дальнейшей судьбе Попова ничего неизвестно (Фруменков, стр. 147).

3. В тридцатых годах доставили на остров священника девичьего монастыря в Муроме, Владимирской губернии, Андрея Лавровского, «по подозрению в подбрасывании листовок, порицавших крепостное право и др.». Лавровский решительно отрицал свою причастность к этим письмам, вызвавшим ряд волнений. По докладу шефа жандармов Бенкендорфа царь приказал освободить Лавровского из монастырского острога, а в 1842г. ему уже разрешили и священнослужение.

4. В пятидесятых годах привезли на Соловки бывшего студента Киевского, потом Московского университетов Георгия Львовича Андрузского «за вредный образ мыслей и злонамеренные сочинения», как одного из видных членов Кирилло-Мефодиевского общества, целью которого являлась, якобы, единая всеславянская федеративная демократическая республика, с ведущей в ней ролью Украины, и отмена крепостного права. По чьему-то доносу общество в апреле 1847 г. было раскрыто. Андрузского, сына помещика Полтавской губернии, владевшего сотней крепостных, доставили в Петербург. На Соловках через два или три года он написал «покаянное письмо» архимандриту, указав в нем, что «назидательные беседы, хождение в церковь и чтение книг во многом совершенно изменили мои понятия...» Но Андрузского, несмотря на ходатайство архимандрита, из тюрьмы не выпустили. Вызвали его с острова Крымская война, когда он и несколько других арестантов особо отличились в 1854 г. при отражении обстрела монастыря английской эскадрой. Стихи его об этом событии опубликованы в «ЧТЕНИЯХ» в прошлом веке.

Андрузского в том же году привезли в Архангельск. Сначала его приняли на должность канцеляриста в губернском управлении, потом там же он стал помощником столоначальника в палате уголовного и гражданского суда. В 1858 году ему, наконец, разрешили вернуться на родину.

5. Особенно обстоятельно и с большой симпатией Фруменков описывает пребывание в соловецкой тюрьме единствен-

ного более или менее близкого к декабристам поручика Горожанского.

«Доведенный режимом Соловков до крайнего психического расстройства, Горожанский 9 мая 1833 года заколол ножом часового. Убийство он объяснил тем, что солдаты (размещавшиеся тут же в коридоре тюрьмы вдоль камер — чуланов) «постоянно кричат, шумят, а он, часовой, должен их унимать и для чего не унимает». Из Архангельска прислали для освидетельствования «в положении ума его» акушера Рязанцева. Заключение Рязанцева «о частичном помешательстве» привело к тому, что вместо военного суда, по докладу Бенкендорфа в 1833 году царь приказал «оставить Горожанского в монастырской тюрьме... а для обуздания от дерзких предприятий употреблять в нужных случаях изобретенную для таких больных куртку» (без рукавов, смирительную. М. Р.).

Дело об убийстве часового Горожанским на этом не закончилось. В 1835 году шеф жандармского корпуса Бенкендорф, очевидно, не по собственной инициативе, а с ведома и с благословением императора, отправил на Соловки для ревизии острога жандармского подполковника Озерецковского. Ревизия привела к изменению порядка ссылки на Соловки и к смягчению участи отдельных арестантов, но в чем и как конкретно выразились эти изменения и смягчение участи, Фруменков обходит молчанием.\*) Пишет только, что положение Горожанского не улучшилось, отзывы о нем в Синод архимандрита оставались отрицательными, и что вместо тюрьмы его на какой-то срок перевели в каземат Головленковской башни. Там в двадцатых годах двадцатого века концлагерная «антирелигиозная бацилла» Иванов на одном из камней в камере будто бы обнаружил надпись «14 декабря 1825 г.» и тем дал «бесспорное подтверждение»... Ходатайство матери Горожанского во всех инстанциях о возвращении ей «несчастливого сына» оставались без последствий. 29 июня 1846 года, просидев в Петропавловской крепости и в монастырском остроге 19 лет, поручик Александр Семенович Горожанский умер.

---

\*) Зато Гернет здесь не покривил душой (кн. 2-я, стр. 464): «Озерецковский отметил в акте, что многие арестанты несут наказания, весьма превышающие меры вины их. В результате ревизии, 15 заключенных переведены из монастырской тюрьмы на военную службу, трое освобождены с острова, двое переведены в монашеские кельи, слепой — в больницу в Петербург и один принят в послушники монастыря. Архимандрит был сменен».

6. В 1864 году в Соловки был доставлен студент казанской духовной академии священник И. Яхонтов за панихиду по убитом в селе Бездна, Казанской губернии, Антоне Петрове во время усмирения крестьянских волнений, вызванных введением уставных грамот в феврале 1861 года. В 1867 году Яхонтова освободили и он уехал миссионерствовать в Сибирь (Пругавин, стр. 74). Фруменков к этому добавляет (стр. 139), что «на панихиде на кладбище в Куртинской церкви присутствовало 150 студентов духовной академии и казанского университета и что Яхонтов был также одним из организаторов сбора денег в пользу семей убитых крестьян.\*»

7 - 8. Последними политическими в монастырской тюрьме были два молоденьких крестьянских паренька, наверное, к тому же полуграмотных, приехавших на заработки в Питер на фабрику Торнтонна, Яков Потапов и Матвей Григорьев. 6-го (18) декабря 1876 года случайно, нет-ли-объясняя каждый, кому как нравится — они оказались в Петербурге на площади у Казанского собора, «где учащаяся молодежь хотела отслужить панихиду по революционерам... Демонстранты окружили оратора (им был тогда неузнанный Г. В. Плеханов). Хотя число участников было незначительно... под крики «браво» оратору, молодежь подняла на руки и подбрасывала вверх парня, державшего в руках красный флаг с надписью: «Земля и воля».

Этим парнем по прихоти случая и оказался безусый Яков — «первый знаменосец русской революции», как с той поры окрестили его все революционные партии. По словам обвинительного акта, на который ссылается Гернет (кн. 3-я, стр. 68, 69), «тут выдвинулась молодая женщина (шестнадцатилетняя Шефтель) с призывом: «Вперед, за мной!» (А куда, зачем — историки не поясняют, да она и сама, видимо, не знала...). Но явившиеся полицейские остановили толпу».

Фруменков совсем иначе, нежели Гернет, описывает тот же факт, пользуясь корреспонденциями, опубликованными в рус-

---

\*) Поступок несравнимо более серьезный, чем панихида отца Николая Лозино-Лозинского для лицезстов по убитом императоре Николае Втором, а вот поди ж ты, освободили Яхонтова! «В литературе есть упоминание о том, пишет Фруменков, что монахи заточили Яхонтова в Головленковскую башню». Этой «литературой» оказалась статья «антирелигиозной бациллы» Иванова в журнале «Соловецкие острова» за 1926 г. номер 5-6, стр. 198. Охая «бациллу» с первых страниц своей книги, историк тут, без проверки, приводит его домысел.

ской эмигрантской прессе. (стр. 174): «Царизм свирепо расправился с участниками. В жестокой свалке на месте демонстрации молодежь была избита полицией и дворниками... Арестовано было 32 человека, среди них 11 женщин (Читай: курсисток. М. Р.), суду предано 21 чел.».

Сколько из них и к чему присуждены, Фруменков не пишет. По Гернету — 6 чел. к каторге, большинство к ссылке на поселение. Шефтель и Потапову, как несовершеннолетним, царь заменил каторгу: первой — ссылкой в Сибирь, второму — пятилетним «покаянием» в отдаленном монастыре. Потапова отправили в Вологодский Спасо-Каменный монастырь, а Матвея Григорьева,\*) другого демонстранта, тоже на «покаяние» в Николаевскую пустынь Астраханской епархии. Оба они, упившись революционной сивухой, чем только могли, досаждали своим наставникам из монахов и настоятелей. По просьбе последних, Синод перевел их в Соловецкий монастырь.\*\*)

В дальнейшем обоих этих крестьянских парней всегда и всюду в истории революции большевики именуют рабочими и замалчивают их возраст. В Соловках настоятель Мелетий тоже спасовал перед Потаповым, «закусившим удила». Фруменков (стр. 180) поясняет, почему именно:

«Потапов оставался верен себе. Он издевался над своими «сдуховными наставниками» и религией вообще. Выведенный физическими и моральными истязаниями из терпения (А какими именно, Фруменков утаивает. М. Р.), Потапов поднял руку на самого архимандрита. Такого случая еще не бывало со дня основания монастыря. Присутствуя на панихиде по Александру Второму 19 марта 1881 г., Потапов подошел под благословение Мелетия и спросил его: — Когда, ваше высокопреподобие, выпустите меня на волю? (т. е., очевидно, из одиночки. М. Р.), на что Мелетий ответил: — Не мое дело. Потапов тут же ударил его по шее и, по свидетельству очевидца Шмидта, крикнул: — Вот же тебе!»

Вскоре завелось новое «дело» на Потапова, смакуемое

---

\*) Гернет (кн. 3-я, стр. 338) относит Григорьева также к несовершеннолетним. Обоих Потапова и Григорьева по этой причине отправили в отдаленные монастыри.

\*\*) Строитель Белавинской пустыни, куда монастырь определил Потапова, жаловался епископу, что тот часто самовольно отлучается неизвестно куда и зачем; неизвестно, откуда и от кого получает письма и посылки деньгами и вещами; требует того, чего дать ему не имеем возможности и даже не только оскорбляет словами строителя, но и грозитя при случае побить его.

Фруменковым. 13 июня 1881 года в 9 часов вечера Потапов убежал из одиночки на третьем этаже и через Сельдяные ворота (их снимок есть во 2-м томе «Архипелага» на стр. 29) появился в гавани. Дальше, чтобы не обвинили в искажении, привожу его показания по протоколу, как он передан Фруменковым:

«Разогнув решетку, вделанную в окно камеры, я связал три полотенца вместе и одно из них, как более широкое, разодрал пополам и из этих четырех... составил одно целое, и привязав конец к решетке... спустился во двор незамеченным (Три полотенца?! Мы и через полвека там же не имели и одного, если родственники не позаботились. М. Р.). Через еще открытые ворота вышел в гавань с мыслью достать лодку и уплыть на ней в Кемь. Богомольцы отказались помочь мне в этом, и когда я им ответил, что я арестант, то они хотели отвести меня в острог, но я пошел сам в сопровождении их, вида, что побег не удался».

Там его в этот час разыскивали солдаты. Они связали Потапова веревками, а чтобы не повторилось подобного, надели на него ножные кандалы, «в которых нахожусь и теперь», — записано в протоколе.

Теперь дадим вылиться эмоциям Фруменкова:

«С 19 марта «бунтовщика» посадили на хлеб и воду. В другой пище ему было отказано... Перелистывая страницы... невольно проникаешься уважением к отважному, непокорившемуся революционеру. Нужно обладать незаурядным мужеством, ненавидеть своих классовых врагов и палачей свободы, безгранично верить в правоту дела, чтобы продолжать единоборство с русской Бастилий».

Вона куда вознес Потапова! Подумаешь, — мужество! Да и чем он рисковал-то? Вот если бы бежал в лес, да от туда на двух бревнах пустился «по воле волн» — это было бы и мужество, и отчаяние. Или, например, как Бессонов с Мальсаговым, разоружив конвоиров, месяц по топам и снегу, отстреливаясь от погони, пробиравшись в 1925 году из Кеми в Финляндию, — и пробрались, — вот это было мужество! А чтобы в толпе у богомольцев спрашивать лодку и сразу же объявить себя убежавшим арестантом — такими храбрецами пруд пруди! Он знал, что и пойманному ему не будет хуже (А вышло даже лучше). Унтер-офицер передает, что Потапов хвастается не стыдясь: «Я еще не такую шутку сделаю!», обещав снова убежать и называя себя неверующим.

После происшествия в соборе и побега, наконец-то «завели дело». В оформлении его участвовали (по словам Фруменкова) чиновники империи в ранге министров. Това-

риш министра внутренних дел торопил министра юстиции, тот — губернского прокурора, прокурор «нажимал» на Архангельский суд, требуя ускорить дело о «крестьянине Якове Потапове». И вот 4 сентября 1881 года судебная палата «родила мышь»: Потапова за все поведение в монастыре приговорили к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Оказавшись в 1882 году в Якутской области в Вилюйском округе, он и там оставался для большевистских историков «писаной торбой» и хорошей «кормушкой» для его биографов. С. С. Шустерман утверждает, например, что «Потапов и там конфликтовал с якутскими богачами (тойонами) и попами». Умер Потапов в Якутской области 3 мая 1919 года в возрасте 61 года.

«Такой дорогой ценой Потапов добился своего освобождения из Соловков», утверждает Гернет (кн. 3-я, стр. 339). А мне кажется, ценой совсем дешевой. В нижних чуланах острога он не сидел. (Они уже полвека использовались только для описаний прошлых ужасов гуманистами, либералами, атеистами. Дописались!..)

Через окошко, размером в шесть квадратных вершков с двумя решетками, оттуда и крыса не вылезет. В казематах Головленковской или Корожанской башен он не сидел, в «каменных мешках» — тоже, — все они давным-давно пустовали. Был даже донос в Третье отделение (Гернет, стр. 339), будто Потапов вначале пользовался в монастыре льготами и общался с богомольцами. Да так оно, надо полагать, и было, только архимандрит, виновный в этом, в свое оправдание назвал донос поклепом.

Следует отметить, что у Гернета события с Потаповым, списанные им из статей Колчина, поданы «вверх ногами»: сначала он, якобы, бежал, прыгнув с окошка третьего этажа, а ударил архимандрита позже.

Второй «напарник» Потапова по демонстрации Матвей Григорьев вначале тоже хорохорился в Николаевской пустыне. По жалобе настоятеля, его заключили в Астраханскую тюрьму, а затем, по повелению царя, в 1879 году отправили в Соловки. Тут он понял, что молодечеством многого не добьешься и утихомирился.

«Соловки — пишет Фруменков — если не перевоспитали Григорьева, то «уломали». Узник терпеливо переносил свое одиночное заключение и производил на монахов впечатление скромного и деликатного юноши... словом, в глазах архимандрита, выгодно отличался от Потапова».

После неоднократных похвальных отзывов архимандрита, в июле 1882 года, когда Потапов шел в Якутию, Григорьева

освободили и разрешили ему вернуться на родину. Потаповым и Григорьевым закончилась политическая ссылка на Соловки в XIX-м веке.

Словно маловато политических для целого столетия, и умер-то из них восьмерых в монастыре всего один — Горожанский. Мизерное число политических, очевидно, очень тяготило советских историков и они добавили к ним нескольких «политических», в большинстве из духовенства, сосланных на Соловки Синодом в давно забытые времена. Вот они:

1. Игумен Троицкого монастыря Артемий, высланный духовным собором 1554 года «на смирение в келью молчаливую, да яко и тамо душевредный и богохульный недуг от него ни на единого же да не распространится». Его обвинили в еретическом вольномыслии и в идейной близости к рационалисту Матвею Башкину, освободившему своих крестьян. Артемий был первый узник Соловков и первый, удачно бежавший оттуда в Литву. Так и не выяснено, кто помог Артемию скрыться: сам ли игумен Филипп или его охрана.

2. Вскоре туда же заточили советника Ивана Грозного Благовещенского прототопа Сильвестра. Разжалованный временщик, по мнению Карамзина, не испытал всех тяжестей заключения, вел беседы с игуменом Филиппом на политические темы, пользовался его расположением, принял монашество и умер там, как инок Спиридон, в конце шестидесятых годов XVI века.

3. В 1588 году в опалу и в Соловки попал при царе Феодоре будущий ратоборец за русскую землю и деятель Смутного времени Авраамий Палицын (Аверкий Иванович). Есть версия, будто туда его отправил Борис Годунов, подозревавший его в соучастии в заговоре Шуйских. Тут, на Соловках он принял монашество и в 1594 году отправлен в Троице-Сергиев монастырь. После разгрома польско-шведского нашествия, в 1620 году Палицын вернулся на Соловки, где и умер в 1627 году. Похоронили его близ южной стены Преображенского собора. Могилу нашли в 1872 году и вскоре поставили на ней памятник из серого гранита в форме гробницы.

4. С 1606 по 1612 год в монастыре содержался татарский царевич, владетель и хан Касимова Симеон Бекбулатович, пользовавшийся особым доверием Ивана Грозного за верную службу России и переход в православие. Одно время он официально считался «царем всей Руси», а Грозный оставил за собой лишь титул «великого князя Московского». Последовавшие за смертью Грозного годы были один другого хуже для ослепшего старца Бекбулатовича. За четыре года до смерти, его по личной просьбе перевели с острова, как инока Стефана, в Кирилло-Белозерский монастырь.

5. Всесильный начальник Тайной канцелярии Петра Первого и его любимец, чья подпись стоит на указах о заточении в Соловки, граф Петр Андреевич Толстой с сыном Иваном летом 1727 года сам очутился на Соловках. «Высочайший указ» гласил: «За многие его вины... лиша всех чинов и чести... содержать его в келье под крепким караулом, писем не разрешать ни от него, ни к нему, никого до него не допускать и довольствоваться братской пищей». А весь сыр-бор разгорелся будто бы из-за спора между двумя временщиками, на ком женить наследника Екатерины Петра Второго. Меньшиков выдвигал невестой свою дочь, а Толстой — одну из своих... Через год, летом 1728 года умер Иван, а в январе 1729 года его 84-летний отец. Старика похоронили в кремле у западной стены Преображенского собора, а сына на общем кладбище за монастырем. Имущество свое Толстой завещал монастырю, в том числе 16 золотых червонцев. Толстых содержали под особым караулом в «Антоновской тюрьме», что южнее Святых ворот. На смену Толстому в ту же тюрьму Бирон прислал заклятого врага Толстого князя В. Л. Долгорукова.

6. К разряду политических Фруменков с готовностью относит и прадеда нашего поэта по отцовской боковой линии капитана Сергея Пушкина, приговоренного в 1772 году «на вечное заключение в какую ни на есть отдаленную крепость с лишением чинов и дворянства и переименованием в бывшего Пушкина за приготовление инструмента для делания подложных банковских ассигнаций». Сначала «бывшего» заключили в Пустозерский острог, где он провел девять лет, получив оценку «дерзкого, вредного и опасного человека. Он кричанием изрыгнул скверно-матерную брань прямо и точно на священнейшую особу ея императорского величества». За эту «дерзость» и, якобы, за какие-то «подметные письма» бывший Пушкин оказался в Соловках. Тут, судя по характеристике архимандрита, бывший Пушкин «житие препровождал смиренно». Умер он в каземате соловецкой тюрьмы 24 декабря 1795 года и погребен на раскольниковском кладбище за церковью св. Онуфрия. Всего в Пустозерском остроге и в Соловецкой тюрьме он просидел 23 года.

Не удалось пока выяснить, в каком году отправили в Соловки и как долго содержали там подполковника Ганнибала. Судя по фамилии, он тоже из гнезда военных предков Александра Сергеевича («...род Пушкиных мятежный...»). Известно только от Пругавина, что попал он туда «за буйство и дерзкие поступки». Но его к упомянутым выше шести поли-

тическим ни Гернет, ни Фруменков не причисляют, и даже не упоминают о нем.

7. В 1861 году был сослан на Соловки «под строжайший надзор» священник села Студенки, Пензенской губернии, Федор Померанцев за неправильное толкование манифеста. Он доказывал крестьянам, что барщину вместо ОТБЫВАТЬ, как указано в Положении от 19 февраля, надо ОТБИВАТЬ... Начались открытые крестьянские бунты, охватившие ряд деревень и вызвавшие применение вооруженной силы. Виновник этого бунта священник Померанцев пробыл на острове два года и в 1863 году по здоровью переведен в Суздальский монастырь.

Содержались в казематах и безименные арестанты, особенно в период бироновщины. Привозили их под кличкой или номером, известные по архимандритским отчетам только тем, с какого года содержатся, «а за что — знать не надо». Для таких и для особо важных ссыльных, как Толстой, Долгоруков, флигель-адъютант Шумский и некоторых других, даже присылали особые караулы. Но их на Соловках за сотни лет пребывания не больше десяти человек. Почему-то ни один из историков не упоминает о вожде чеченцев Мансур Ушу. Он был взят в плен в 1791 году, отправлен на Соловки и там умер (см. НРСлово от 18 мая 1968 г. статью Н. Канта «Чеченцы»).

Для рядовых арестантов, в большинстве состоящих из скопцов и сектантов, в монастыре имелась караульная команда из инвалидных солдат. В восемнадцатом веке численность ее иногда доходила до пятидесяти человек, и тогда по ночам по кремлю попарно ходили дозоры, а у Никольских, Архангельских, Рыбных и Святых ворот стояли часовые. С 1781 года караульная команда, до того подчинявшаяся архимандриту, получила своего военного начальника — обер-офицера, но в связи с концентрацией всех арестантов в остроге и засыпкой тюремных «погребов», численность караульной команды постепенно сокращалась и под конец упала до двадцати солдат.

Можно добавить еще свыше сотни имен монастырских узников, упоминаемых в книгах всех историков, но ради экономии места воспользуюсь их общей характеристикой и классификацией, приведенной еще в прошлом веке Пругавиным и не опровергаемой советскими историками:

«Чаще всего монастырскому заключению подвергались вожаки и руководители раскола — старообрядчества, а также основатели и главные деятели разных сект в роде известного беспоповца костромского купца Папулина, «духовного царя» секты прыгунов Рудометкина, знаменитого по секте бе-

гунов или странников Киселева, наставника саратовских молкан Плеханова, известного мистика, игумена Селенгинского монастыря Израиля, основателя Десного братства артиллерийского капитана Ильина, и др.».

Сидели на Соловках скопцы, субботники (секта иудействующих), а то и просто, как Иван Бураков, «за отступление в раскол, какого еще не бывало: ничему не верит». Учитель Воскресенский был заключен в тюрьму в 1825 году на всю жизнь «за богохульство после наказания кнутом». Несмотря на раскаяние за произнесенные в запальчивости слова, его продержали десять лет и освободили с условием остаться в монастыре.\*)

Священников заточали в Соловки чаще всего «за побег к раскольникам». К этой главной вине нередко присоединялись еще другие, в роде нетрезвой жизни, пьянства, убийства и т. п. Монахов ссылали за уклонение в ересь, «за порочную жизнь», «за лживые клеветнические доносы», «за пьянство и развратное поведение» и т. п.

Не только за политику, за участие в придворных заговорах, за святотатство, раскол и сектанство — ссылали людей на Соловки (правда, значительно реже,) даже за чисто уголовные преступления: за убийство членов семьи, иногда в припадке сумасшествия. Пругавин приводит часть таких примеров. Малолетка Панасенко за убийство 8-месячной девочки отбыл на Соловках около шести лет, пока подрос и сдан был в солдаты. Синод отправил в Соловки на эпитимию на семь с половиной лет крестьянина Бестолченова за снохачество, расценив его, как «кровосмешение». Под монастырское «начало» с непременно трудом попадали и просто по ходатайству родственников за развратное поведене, пьянство и буйство. Именно за это там «по жалобе отца своего» очутился корнет Спечинский с просьбой папаши держать сынка «пока утвердится в доброй нравственности и особенно в правилах нашей религии».



За всю историю монастырского заточения удачных побегов на материк было столько, что о них можно сказать: «Раздва, да и обчелся». Значительно чаще шли побегии за стены

---

\*) Этому Воскресенскому Гернет (жн. 1-я, стр. 280) отнес в заслугу составление описи монастырского архива и написание трех томов «Исторического описания Соловецкого монастыря», изданного архимандритом Досифеем Немчиновым как его собственный труд.

монастыря, в лес, к озерам; если невозможно бежать с острова, то хоть на нем подышать чистым воздухом и насладиться природой, пока не поймают или голод не принудит вернуться в острог.

Именно так закончились не так задуманные побегии у расколоучителя А. Белокопытова. При первом побеге его плотик прибило обратно к острову, при втором — беглеца поймали на острове (в 1745 и 1746 гг.).

Старовера Дружинина Григория также дважды поймали в лесу, при чем бежал он оба раза в кандалах, а при последней попытке — с большим запасом продуктов, да заблудился среди озер и не мог отыскать место, где спрятал съестное, и долго питался ягодами и кореньями, пока его не схватили (1753 и 1756 гг.).

Дважды бежал «секретный арестант» авантюрист румын Попескуль. Первый раз осенью 1788 года его поймали в лесу и посадили в земляную тюрьму под крыльцом Успенского собора. Вторично он скрылся в феврале 1791 года. Все поиски его сначала на острове, а потом по всему материковому побережью оказались безрезультатными и потому посчитали его погибшим «либо с голоду и стужи, либо утопшим», если доверил судьбу плавающим льдам.

«Неудачливых беглецов — пишет Фруменков (стр. 27) — переводили в более надежные казематы и снижали им суточную норму хлеба, чтобы не сушили сухарей для очередного «сбегу». Тут, по-моему, Фруменков относительно сухарей для «сбегу» противоречит сам себе. Он писал вначале, что арестантам выдавали по фунту заплесневевшего, сырого, с примесью хлеба. Из такого сухарей не засушишь. Да и вообще, если от фунтовой пайки что-то откладывать для «сбегу», так через месяц не то, что бежать, — со скамьи не поднимешься. Профессору Фрумекову полагалось бы не только проверить действительный вес монастырской пайки, но и взвесить свои слова, прежде чем отправлять их в печать.

\*\*  
\*

А был еще один легальный путь в восемнадцатом веке прервать свое заточение. По закону того времени вольный или арестант, объявивший «слово и дело» или «государеву важность», подлежал отправке под конвоем один или с оговоренным им человеком в Москву, в Преображенский приказ, «к Варваре на расправу».

Первый раз туда отправили в 1723 году Ивана Буяновс-

кого\*) по «извету», будто он назвал царя Антихристом. Донос не подтвердился, и Буяновского вернули в соловецкую тюрьму. Через год он сам объявил «государеву важность» и снова в кандалах побывал на Варварке. На этот раз его вернули с предписанием держать безвыпускно в земляной тюрьме, доносов его не слушать и в столицу больше не отправлять. Маршрут Буяновского Соловки-Москва-Соловки повторили еще двенадцать монастырских узников. Чтобы отучить заключенных монастыря пользоваться «словом и делом», как способом на время изменить свою участь и сберечь государству большие расходы на конвоирование «изветчиков» и само следствие, в указах о ссылке в Соловки иногда стали встречаться такие добавления: «А ежели указанный колодник станет сказывать слово и дело... то ему в том за многим его подозрительством не верить..., в тайную канцелярию не присылать, а за сказывание... чинить ему наказание плетью». Так предписано было поступать с Иосифом Масловым, Иваном Леонтьевым, Андреем Шаткиным, Семеном Васильевым и многими другими. (см. Фруменков, стр. 11, 34)



«Человеческих документов» об испытанном в соловецких казематах и в тюрьме до историков дошло мало, по моим подсчетам всего пять, да и те слишком немногословны, чтобы посчитать их за «летописи», Наиболее остро свои переживания в немногих словах оставил «прорицатель» Авель,\*\*) личность оригинальная, хотя и одержимая временами мистическими галлюцинациями. Тульский крепостной крестьянин Нарышкина (Василий Васильев), Авель, получив от барина вольную, принял монашество и пустился в странствия, побывав даже в Царьграде. В 1776 году он сочинил «мудрую и премудрую книгу», в которой отрицательно отозвался о царской фамилии. Костромской и Владимирский губернатор при личном допросе ничего не добился от Авеля, утверждавшего, будто он видел в небесах две книжки и только списал их содержание, которое, как выяснилось вскоре, не пришлось по вкусу

---

\*) Иван Буяновский — расстрига, быв. игумен Мошнегорского монастыря Иосаф, значится в списке колодников в 1742 г., как узник каземата в городской стене у Никольских ворот.

\*\*) Смотрите также в РУССКОЙ СТАРИНЕ за 1876 год биографическую справку о «прорицателе» и мистике Авеле протоиерея Н. П. Розанова.

ни Екатерине, ни духовенству. Губернатор заковал «сумасброда, злодея и бездельника» в железа и отправил в Петербург. Там судьи нашли, что «за дерзновенные и самые оскорбительные слова о пресветлейшей императрице и ее доме», а также «за дерзновение и буйственность богохульника и оскорбителя высочайшей власти» Авеля следует казнить. Но Екатерина повелела «оного крестьянина... посадить в Шлиссельбургскую крепость и без ее повеления не выпускать».

Смерть Екатерины принесла Авелю освобождение. Павел, как он это делал со всеми ненавистниками Екатерины, пригласил Авеля к себе, обласкал и устроил в Александро-Невскую лавру. Оттуда через некоторое время Авеля перевели в Балаамский монастырь. Там он написал вторую книгу «подобно первой, еще и важнее», за что угодил в Петропавловскую крепость. Александр Первый летом 1801 года переотправил его на Соловки, а осенью Авеля освободили и перевели в число монашествующих. Тут в Соловках он сочинил какую-то третью книгу, не принимал архимандритских наставлений и совершил неудачный побег. Сверх того, он имел плохое обыновение предсказывать Екатерине, Павлу и Александру день их смерти и другие неприятности. За все эти «продерзости» летом 1802 года Авеля запрятали в монастырскую тюрьму, где и продержали 11 лет.

По языку, дай ему свободу, из Авеля вышел бы новый Саванарола, а на худой конец — второй протопоп Аввакум. Его образные выражения пришлось очень по вкусу советским историкам и они охотно их цитируют. Не удержимся и мы:

«В монастырской тюрьме я десять раз был под смертью, сто раз приходил в отчаяние, тысяча раз находился в непрерывных подвигах, а прочих искусов было отцу Авелю число многочисленное и число бесчисленное».

Заодно, он мечет громы и молнии на архимандрита Илариона:

«Он все хотел сжить меня со свету. Иларион уморил невинных двух колодников. Он посадил их теперь и запер в смертельную тюрьму, в которой не только человеку жить нельзя, но и всякому животному невместно: первое — в той тюрьме темнота и теснота паче меры, второе — дым и угар и сим подобное; четвертое и пятое в той тюрьме — скудостию одежд и в пище, и от солдат истязание и ругание и прочее ругательство и озлобление многое и множество».

Вопреки тому, что у Авеля «искусов было число многочисленное и число бесчисленное», он дожил до 78 лет и умер в 1831 году в Спасо-Евфимьевском монастыре в Суздальи, где

жилые условия для заключенных были несравнимо лучше соловецких, но допекали шумом душевнобольные, которые в основном и преобладали там.

Другим «летописцем» для 30-х годов 19 века был священник Лавровский, приписавший, что «в нынешнем моем положении (после освобождения. М. Р.) всех прискорбий тогдашнего содержания в монастыре и объявить не можно...»

Третьим оказался губернский секретарь Максим Пархомов, еще в до-Елизаветинские годы за что-то отправленный в монастырь. Он просил перевести его в Петербург на каторжные работы «из этого студеного, крайсветного, темного, нелюдимого острова, где не только здоровье человеческое, но и железа ржавеют».

Четвертым был опальный монах «под началом» Гавриил Спичинский. В восьмидесятых годах восемнадцатого века он писал Архангельскому епископу, что «измучен здешним по несродству зловередным воздухом, перемят разными здешними ж ознобами во всех костях, через которые повреждения не только в тяжелой работе быть, но и легкого послушания нести не могу; равномерно и в церкви долговременного стояния чрез неукратимую в ногах ломь терпеть силы не имею».

Пятым и последним оставил «человеческий документ» магистр богословия Серафим за что-то в середине семидесятых годов прошлого века присланный Синодом «на жительство среди братии». Пользуясь относительной свободой, он общался и с монахами, и с богомольцами, видел всю жизнь монастыря и свои наблюдения, минуя монастырскую цензуру, через паломников пересылал в столичные газеты, особенно неодобрительно отзываясь об эксплуатации монастырем бесплатного труда богомольцев. На просьбу архимандрита Мелетия к Синоду разрешить ему применить более строгий режим к Серафиму, Синод отписался советом усилить наблюдение за магистром и взять с него подписку больше не встречаться с богомольцами. Вместо подписки, «четыре дюжих хлебопека» втолкнули Серафима в келью под игуменским корпусом, якобы избив его при этом, келью заперли на замок, а пищу подавали через окошечко. В этой кутузе Серафима держали в темноте, без огня, всю зиму. Тут с ним переговаривался Колчин.

Сами арестанты не оставили нам «летописей» по двум причинам: первая, главная, — боялись писать о пережитом, чтобы снова не попасть в острог или каземат, и вторая — из-за инструкции о содержании всякого грамотного узника. Инструкция требовала изъять у него и никогда не давать «перо, чернила, бумагу, карандаш, бересту, камень красный и про-

чье, к письму способное». Неугомонные люди, которые «болтали лишнее» — добавляет Фруменков (стр. 34, 35) — и устно жаловались на свою судьбу, получали в рот кляп. Особенно часто кляп применялся к закоренелым раскольникам, чтобы не опровергали постулаты православия и не разглашали свое «лжеучение».

\*\*  
\*

Двадцать один год, с 1744 по 1765-ый, расплачивался матрос Никифор Куницын за обнаруженное у него письмо «Князю тьмы», в котором он продавал сатане свою душу и отрекался от Бога в обмен на богатство. Этот доморощенный Фауст в Соловках ходил по кельям узников и «бранил поносными словами монастырское начальство». Его предупредили, чтобы он больше «не ходил по монастырю и по службам, рассеивая пустые речи». Заодно, пользуясь случаем, игумен издал приказ, запрещающий ссыльным всякие хождения по монастырскому двору и тем более выход их за крепостные стены. Ослушникам угрожали тюрьмой.

Три страницы (55, 56 и 57-я) отведены Фрумкинским хождениям матроса. По ним приходишь к заключению, что режим для ссыльных не всегда был жестким, во всяком случае при архимандритах, под чьим надзором был Куницын, хотя Фруменков походя подчеркивает, что «мягких» среди них не было. Правда, матроса за симулянство болезни, за отказ посещать церковь и за письмо царице о помиловании на «лобном месте» выдрали палками в присутствии всех ссыльных, «чтобы и другие, смотря на это чинить так не дерзали». Но надолго смирить матроса не удалось. Он даже не только обругал и высмеял при народе старосту дьячей службы — высокий чин в монастырской иерархии, — но, уже без очевидцев, саданул его в грудь «весьма крепко». Быть бы ему снова на «лобном месте», да солдаты не подтвердили доноса старосты.

А некий С. Слитков, сосланный в монастырь в 1747 году «для приведения его в чувство, чтоб он от худых своих поступков мог воздержаться», сам запугал монастырское начальство. Он безнаказанно пьянствовал, безобразничал, навел свои порядки в монастыре, даже бил монахов. «Монастырские старцы, сообщает Фруменков (стр. 58), обратились в Тайную канцелярию с просьбой защитить их от оскорблений и побоев арестанта». Каков был ответ, осталось неизвестным. Неспособность монастырских властей утихомирить буяна, Фруменков объясняет «сиятельностью» камер-лакея Слиткова, зато, мол, ссыльным из простого народа они спуску не давали. Не на много ниже Слиткова по рангу и чинам сидели на Со-

ловках настоятели других монастырей, епископы, полковники, майоры, да что-то так не безобразничали, монахов за бороды не таскали. Впрочем иного, не «классового подхода» к объяснению событий в монастыре от Фрумекова и ожидать было бы наивно. Так уж натасканы красные историки. За это их и кормят.

\*\*

Разделяли судьбу русских узников монастыря и пришельцы с Запада. Первым иностранцем на Соловках в начале 17-го века побывал латинский проповедник, католический монах Николай де Мелло. Годунов отправил его, как агента римской церкви, в край «зело дальный и отлеглий». Освобожденный Лжедмитрием Первым, де Мелло начал плести козни против Шуйского и снабжать «информацией» Ю. Мнишек. В 1614 году за Волгой его поймали вместе с известными Заруцким и Мариной Мнишек и казнили.

При патриархе Никоне в Соловки сослали грека Арсения, известного справщика богослужебных книг, обвиненного в еретичестве и униатстве. Петр Первый туда же отправил «под караул» заподозренных в неблаговидном поведении трех монахов восточной церкви.

Из двух румын, сосланных Екатериной на Соловки, один был уголовником, о втором расскажем подробнее. Выходец из румынской знати Попескуль, тот самый, о котором только что говорили, как о дважды бежавшем и пропавшем без следа, служил в русской армии, и в чине поручика участвовал в войне с Турцией. Выйдя в отставку и растранив все деньги, он написал императрице просьбу об особом вознаграждении. Получив отказ—«У нас награждают за заслуги, а у просителя таковых нет» — Попескуль пригрозил написать позорные для России мемуары. Чтобы избавиться от дерзкого нахала, ему вручили 36 голландских червонцев, взяли подписку, что не вернется в Россию, посадили на корабль и отправили в Нидерланды. Но авантюрист придумал другую аферу. Попескуль написал донос на бывшего молдавского господаря, будто тот подговаривал его вернуться в Россию и убить Екатерину и Потемкина. По каналам дипломатической службы донос попал в Петербург. Попескуля из Ясс привезли на допрос. Тут он сознался, что оклеветал господаря. Вместе почестей и наград, румын в 1775 году очутился на Соловках как «секретный преступник». Где-то там он и закончил свою бурную жизнь.

В мае 1816 года соловецкий острог принял француза Августа Турнеля. Ни Гернет, ни Колчин с Пругавиным, ни архи-

мандрит не знали, в чем нашли виновным этого тоже «секретного арестанта». Фруменков отыскал его дело в архивах Синода и обер-прокурора. Турнель будто бы оказался «бонапартистским шпионом». Хотя прямого обвинения в этом ему никогда не было предъявлено, тем не менее Турнеля заперли в острог. В марте 1820 года, когда местопребывание Турнеля стало известно французскому послу, Александр Первый распорядился перевести его в Оренбург. В 1825 году Турнель получил разрешение жить в Петербурге с условием «удаляться предосудительных поступков».

\*\*  
\*

Фруменков историю политической ссылки на Соловки заканчивает Потаповым и Григорьевым, т. е. 1882-м годом, огорив одной только фразой, что «ссылка в монастырь по религиозным делам продолжалась», о чем более пространно рассказывает Пругавин (стр. 88-92). Сообщив об отъезде за ненадобностью в 1886 году караульной команды и передаче в 1903 году острога монастырю под больницу и схимников, Пругавин добавляет:

«В настоящее время, в 1903 году из числа бывших тюремных узников в Соловках... остается один только Петр Лаврентьев, сосланный сюда 23 года тому назад. Теперь он живет на Секирной горе в скиту..., не оставил прежних убеждений и, как сообщают, пользуется каждым случаем, чтобы громить и бичевать монахов... хотя сейчас он представляет из себя жалкого, полупомешанного человека... К сожалению, — продолжает Пругавин, — и теперь ссылка в монастырь практикуется в широких размерах, хотя ссылаются почти исключительно лица духовного звания и сана, чаще всего монахи, провинившиеся против монастырского устава».

Вслед за этим Пругавин приводит имена десяти иеромонахов и иеродиаконов, сосланных Священным Синодом в 1902 и 1903 годах. Некоторые из них «запрещены» и находятся под эпитимией бессрочно. Большинство из них разослано по дальним скитам. Есть среди них и виновные или заподозренные в еретичестве, например, расстриженный архимандрит Михаил и его последователь монах Исаакий за ересь хлыстовского характера. Этот архимандрит настолько влюбился в одну крестьянскую девушку, что признал ее безгрешной и даже святой, а Исаакий разделял его убеждения.

Пругавин заканчивает книгу призывом к тем, от кого сие зависит, вспомнить и освободить еще четырнадцать узников по делам веры из тюрьмы при Суздальском Спасо-Евфимьевском монастыре.

Не наше дело обсуждать сейчас, прав или не прав Священный Синод и его обер-прокурор, продолжая в конце 19-го и в начале 20-го века ссылать в монастыри белое и черное духовенство за проступки против православия и монастырских уставов, не имеющие уголовного характера. Не надо забывать, что речь шла и идет о единицах из десятков тысяч. По календарю Суворина в России в 1890 году числилось 47682 священника и диаконов и 10356 монахов и послушников в мужских монастырях, а в 1915 году соответственно 66140 и 21330. Не могли все они быть достойными своего сана и звания по поведению и образу мыслей. Они такие же люди, как и мы грешные. И кого-то из них как-то наказывали другим в назидание. А чтобы изничтожить их до последнего, а с ними веру, храмы и монастыри — потребовался большевизм. Жаль, не дожили до этих дней ни Колчин, ни Пругавин.

---

## ПОСЛЕСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

Жил такой Николаев, председатель Объединения русских адвокатов в Мюнхене. Прочитав в «Посеве» вводную главу к «Завоевателям...», он в ротаторном бюллетене Объединения в 1948 г. оценил ее, как «труд умного наблюдателя». Но несколькими месяцами позже, читая в «Посеве» уже самые воспоминания, повстречавшись со мной, с укором сказал: — Что-то весело описываете, не так, как ожидали по началу.

Да, разрыв порядочный между фактической жизнью в лагерях в описанные в «Завоевателях...» тридцатые годы в Соловецком концлагере и в Ухтпечлаге и той, в которую ее, по вводной главе, старались, но не всегда с успехом, втиснуть Лубянка и Старая Площадь. Теория и практика марксизма и большевизма в обеих зонах — в лагерной и «вольной» — не всегда и не во всем шли в обнимку одним путем-дорогой, а вихляли, расходились и вновь сталкивались. К тому же и большинство лагерников описанного десятилетия сами умудрялись всякими способами миновать лагерные кладбища. В кратком предисловии к «Завоевателям...» сразу же было оговорено, что пишу не о том, как умирали — об этом другие еще раньше постарались, — а «как, несмотря на сатанизм системы, рабы умудряются выживать и порой даже издавать звуки, похожие на смех».

Ныне от тех лагерей сохранились лишь названия. Зато в них появились предзонники, зоны, запретки, разгородки, прожектора, электризованная колючка, орава «ахфицеров», начальники режима, политико-воспитательных частей, надзира-

тели и вахтеры на первых воротах, на вторых — все вольные, жаждущие от заключенных безропотного козыряния, от своего начальства — похвал и лишних лычек. Введены обыски на вахтах, ломание шапок перед лагерным ничтожеством в форме, бритье голов, «форменные» куртки, никакого «колючего и режущего инструмента» в зоне (при атомных бомбах опасаются топоров и лопат); используют «ссученных» уголовников в Секции Внутреннего Порядка — СВП — «повязочников» (с отличительной повязкой на рукаве) вроде — да простят мне те, кому это больно читать — вроде дворников для «черной сотни», полиции и жандармов, или, лучше сказать, — «дружинников» большой зоны, тех, которые на улицах обрезают «лохматиков» (их волосы, только волосы...), а у девиц распрошивают «вшивую горку» — взбитую прическу, уже отжившую свой век за кордоном.

Вот только в лес, на тракты, в шахты, вообще на «великие стройки социализма» из зон усиленного режима больше не гоняют, а держат в мастерских внутри колючек под дозорными вышками вертухаев. Не надорвутся, как бывало, не обморозятся, не придавит деревом, не засыпет обвалом, не подстрелит конвой. Зато и нормы питания у них еще меньше, чем были у нас полвека назад, а с нормами на царской каторге вообще не идут ни в какое сравнение... Посылок в год — ОДНА, и чтобы не тяжелее пяти килограммов, да еще и выдадут ли. Ну-ка растяни ее на 365 дней! На это нужна сила воли Муция Сцеволы. Кинули в Лету годы, когда духовенство на Соловках подкармливало шпанят своими посылками, иные по расчету, чтобы новое племя поменьше и поблагороднее материлось...

И не дрынут больше — это правда — и слова такого в «Показаниях» Марченко нет. Но пойманных на подкопе, пишет он, дубасят березовыми кольями (стр. 73). Хрен редьки не слаще.

Тема этой работы планировалась более узкой — лишь о детских годах большевизма, о первом концлагере в монастыре на острове, как он описан пережившими, и как о нем рассказали Солженицыну для «Архипелага ГУЛаг». Насколько мой труд поможет историку и лицам, уже изучающим концлагеря, как одно из мощных и проверенных на опыте средств внедрения массового страха для упрочения диктатуры, покажет будущее. Мне-то не дожить! В процессе сбора материалов, для более широкой оценки и для сравнений концлагеря первых лет с прошлой системой наказаний, уже мало кому знакомой, выявилась необходимость привести выдержки из описаний сахалинской уголовной и политической каторги

и соловецкой монастырской ссылки («заточения») в прошлые века. Сравнения и выводы читателю не навязывались, кроме редких случаев, когда составителя прямо таки подмывало вернуть и свое словцо или дать необходимое пояснение. Эти выдержки и сравнения уже сами по себе достаточны для особой работы и для размышлений на тему, насколько и в чем схожи и разнятся арестанты, каторга и понятие преступности в прошлом и настоящем, и есть ли и в этих областях основание ставить знак равенства между Россией и СССР, между русскими и советскими, между самодержавием и большевизмом, между царскими завоеваниями и советскими. Не пришлось бы в недалеком будущем согласиться с русским историком с татарской кровью Карамзиным. Он укорял императрицу Елизавету Петровну за то, что она, располагая трехсоттысячной армией вдоль западных границ, не захватила («не продиктовала свою волю» — так выразился историк) раздираемую междусобицами и обессиленную Европу, а увлеклась, как известно, больше танцами, балами, маскарадами и нарядами в Париже и Питере. Отец вздыбил и пришпорил сермяжную Русь, так хоть дочь его ослабила бразды правления, позволив народу перевести дух.

Солженицын дал нам Ивана Денисыча — типичного безвредного, себе на уме зэка послевоенных особлагов, а Чехов — Егора, типичного сахалинского каторжника, тамошнюю «шпанку», недалекого по уму, безропотного, трудолюбивого, услужливого мужика, неспособного ни обидеть, ни украсть, ни «закосить вторую пайку» (да и потребности в этом не было). К сожалению, включить из Чехова главу «Егор» (стр. 65-70) не позволил объем книги и мой карман.

Людской конгломерат двадцатых годов уже несравним с тем, каким он стал позже. С ним нас достаточно познакомили летописцы. Но без конкретного ответа оставлен или обойден ими один очень существенный вопрос: сколько же на Соловках из каждой тысячи заключенных было уголовников, бытовиков и каэров, а из последних — интеллигентов; какое соотношение между ними было в кремле и на лесных и дорожных командировках (т. е. на работах) по острову. Это не столь «пустой», «вздорный», «никчемный» вопрос, чтобы обойти его молчанием.\*)

---

\*) Согласно И. Л. Солоневичу (стр. 221,222) — «В Свирьлаге тогда (1932, 1933 гг. М. Р.) находилось около 70 тысяч заключенных, а интеллигенции среди них было еще меньше, чем в Белбалтлаге — всего два с половиной процента.

Неповторимой является и резко-контрастная обстановка на острове. Одних зимой держат на лесозаготовках по двое-трое суток в лесу, наказывают «комариками» — летом, а зимой полураздетыми ставят на пеньки, а другие в кремле встречают Новый Год с оркестром, танцами и вином; вонючая баланда из трески с общей кухни в кремле, и там же в кремле ресторан с музыкой, в розмаге икра и шампанское, а в ларьках всякие продукты и одежда для тех арестантов, у кого червонцы; есть чем «подмазать», есть блат — получишь легкую, чистую работу, нет их — айда в лес, на дороги, на торф, на кирпичики; истребляют поголовно «христосиков» всякого толка и разрешают всем соловчанам прослушать пасхальную заутреню, совершаемую сонмом заключенных «князей церкви»; театр, хор, библиотека, музей, охрана чаек и старины, общество краеведения, а за стенами кремля братские могилы и запах трупного тления летом; по Савватьевской дороге грозная Секирка, где еще в первые ее дни, осенью 1923 года, уголовники пытались протестовать против зверств массовым вспарыванием своих животов («эпидемией» — пишут социалисты), а в кремле — лекции о преступности в советском обществе, о масонах, ликбез, профкурсы, спортивная площадка, катание на лодках, на коньках, на лыжах; на одних вместо подштанников — консервные банки на веревочках или мешки, на других — шубы на лисьем меху... Много было таких крайностей в те, ныне уже как бы легендарные годы.

«Фантастический мир! — как бы резюмирует Солженицын (стр. 41). Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и месту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки».

Да, то был краткий период еще не перебродившего «докультового» большевизма, периода порою еще мерцавших отсветов недавней революционной романтики февраля. Соловецкий концлагерь вместе со всей страной пережил свой красный террор, свой НЭП, свои обманутые надежды на перерождение большевизма, наконец, надежды на Запад, на войну и, страдая похмельем, погрузился в трудовую кабалу пятилеток. Чтобы правильное судить о тех 50-60-летней давности условиях в обоих зонах, надо знать их, а еще важнее — пережить. Меня, например, совсем не пугали лагерные нары, вагонки или топчаны. На всех побывал. На нарах я, вольный, провел всю зиму на лесных работах. Бараки там — я сам их строил сдельно! — были не лучше лагерных. Да и Солоневич на 60-й странице подтверждает: «Лагерные бараки отвра-

тительны, но на воле я видел похуже и значительно похуже». В те 1923-1925 гг., заездом в Москву, я находил приют на одну-две ночи на вагонках в общежитии будущих «мастеров советских душ» — студентов Института Журналистики.

Не в физических условиях ужас концлагерей, особенно для крестьян — основной массы каэров в Соловках 1923-1933 гг. Ужас в произволе, в бесправии, в том, что уже тогда сотни тысяч, а потом миллионы, без общепринятых веками оснований, отрывали от семей, от привычной жизни, коверкали их судьбы, бросали в уголовную среду пропитывать страхом и покорностью, создавая им и их семьям, если сохранились, и после лагеря жизнь каких-то изгоев. Не зря сказано: не работа крушит, а забота сушит. Иногда, угнетаемый подобными мыслями, удалившись в лес, в одиночестве и я молча глотал слезы. А ведь был я во многих отношениях куда счастливее большинства заключенных уже одним тем, что меня не мучил вопрос: за что отдаю я здесь свою молодость и силу? Но о себе в этом разрезе писать я не охотник, а о других гораздо лучше писали и еще напишут те, кому и перо в руки. А я, повторяю, даю лишь фотографию лагеря.

Описывать одну сторону, умалчивая о другой — обязанность агитаторов и пропагандистов. За мою попытку отойти от такой шпаргалки, да еще при моих слабых изобразительных способностях, похвал не ожидаю. Но и ругани особой не предвижу. Знаю: «Горьким быть — расплюют, сладким — проглотят»... Да и не с этой опаской взялся я за перо. Уже по опыту знаю — всем не угодишь: «всем мил — никому не мил». В «Соц. Вестнике» «Завоевателей...», вернее меня, их автора, меньшевики расплевали, а их прародитель, один из семи основателей РСДРП в 1898 г., отписал мне похвалу, да еще устроил перевод и издание «Завоевателей...» на японском языке, а вождь немецких соц.-демократов послевоенных лет Шумахер распорядился размножить и снабдить вводной главой из моей книги свои партийные комитеты. Гнездо одно, а птенцы вывелись, видите сами, разные...

А не то, так обходным путем подножку подставят: «Уже, мол, писано — переписано село Борисово... Тут Картер с Брежневым целуются, а он лезет с Соловками полувековой давности». В этом случае отвернусь, да лягну: — А по моему, во что поцеловать, в то бы наплевать...

Вернее же всего откликом на эту работу явится...заговор молчания. Одобрена, скажут, свободным миром лагерная эпопея в трех томах — хватит! Лучше ее не было и не будет. Правильно! Да я с ней и не соперничаю. Куда мне в калашный ряд! Я и в знаках-то препинания уже путаюсь, а ли-

тературным слогом от роду был слаб. Дерзаю лишь кое-что из опубликованного о Соловках подправить, очистить от неумеренных искажений, приблизить к истине, как я ее представляю себе по личному опыту и по рассказам соловчан на самих Соловках.

И еще такое могут присовокупить: — Этот, дескать, составитель антологии мемуарного лагерного жанра обошел полным молчанием душевные муки безвинных страдальцев красной Голгофы. Тут уж я для своей защиты снова призову И. Л. Солоневича:

«Мои очерки — писал он в книге РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ — несколько оптимистически окрашенные фотографии лагерной жизни (Свирьлага и Белбалтлага начала 30-х годов. М. Р.). Для антисоветски настроенного читателя агитация не нужна, а советски настроенный все равно ничему не поверит. И погромче нас были витии!» (стр. 60).

Из восемнадцатилетней истории концлагеря в Соловецком наставре летописцы оставили воспоминания лишь о 1922-1934 гг. Все, что происходило на острове позже, до 1940 года, уместилось в нескольких фразах. Пидгайный, правда, подробно перечисляет многих украинских, белорусских и среднеазиатских партийных «вождей», заподозренных в националистических уклонах и за это отправленных на остров. Но самую обстановку в кремле не описывает, кроме случая с кражей картофеля узбеками или туркменами, да очень сомнительную картину отправки монашек на Зайчики. С превращением Соловков в 1937 г. в особую тюрьму, и описывать-то уже стало нечего. Советская тюремная жизнь известна: закрытые камеры и в каждой по «насадке» от ИСЧ (Бергер).

Перечитав еще раз первую книгу и рукопись второй, окончательно убедился, что при том материале, собранном мною за три года по всей Америке для этой работы, можно и надо было написать солиднее, лучше, понятнее, избежать многих повторений. Но «бодливой корове Бог рог не дает», а потому она «хоть шишкой, а боднет». Кто-то — забыл автора — в статье в НРСлове об умершем писателе Корякове, отметив его способность находить, использовать и подать читателям материал, присовокупил: «Другому без таланта и умения и этот богатый материал мог оказаться ни к чему». Так это же обо мне! Не в бровь, а прямо в глаз. Правильно! По заслугам: «По Сеньке шапка, по автору колпак... Ну, об этом — приходит час — напомним мне многие..., забыв эту «самокритику».

Из шести тысяч на издание двух книг тысячи две возвратятся в карман автору. Остальным скажу прости-пошай. Все

же семья по миру не пойдёт. За двадцать лет заслужил двойную пенсию, работая за четырёх на заводе.

Не все для тела. Надо что-то сделать и для души, чтобы умирать не краснея, с чистой совестью.

23 ноября — 8 декабря 1979 г.  
Аризона.

### УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН\*)

- Абрамовский, пом. Арх. прокурора, 34.  
Авксентьевский, К. А., зам. ком. южным фронтом, 58.  
Агеев Дженигер, врач, муссаватист, 194.  
Акарский, поэт, 32.  
Александров, секирчанин, 131.  
Александровский, зав. Соловец. сельхозом, 33, 35, 2/66.  
Александровская, жена предыдущего, 2/66.  
Алексеев, брат Стравинского, 2/63, 2/67.  
Альбрехт, К. И. из Коминтерна и РКИ, посетивший Соловки, 145, 168, 199, 203, 207, 210, 214.  
Амфитеатров, А. В., писатель, 19.  
Андреев И. И. (проф. Андриевский), 238.  
Андреева, следов. ОГПУ, 281.  
Антипов, нач. Секирки, 128, 130, 131.  
Антипова, нач. санчасти острова, 116, 263.  
Анфилов, нач. канцел. в кремле, 195, 2/14.  
Арманов Сергей, актер, 2/17, 2/19, 21, 26.  
Арнольди, лицеист, 2/50.  
Аронович Яков, меньшевик, 277.  
Арский (чекист Филиппов), 288.  
Архангельский, реж. фильма «Соловки», 286.  
Астор, леди, спутница Б. Шоу, 143, 145.  
Аттольская, герцогиня, политик, 142.  
Ауке, первый комендант острова, 73, 74.  
Балтрушевич, из Севлага, офиц., 274.  
Баранчиков, рецензент «Известий», 286.  
Баринов, нач. кремля, 73, 108, 178, 236, 252.  
Барков Е. С., нач. ЭКЧ, 177, 202, 2/15.  
Бахулис, комен. Пертоминск. лагеря, 75, 277.  
Бедный Демьян, писатель, 78, 225.  
Бедрут, Вл., взломщик, 17.

\*) В «Указатель» не внесены имена двенадцати соловчан, чьи воспоминания чаще всего цитируются автором настоящей работы, а именно: Андреев, Г. Зайцев, И. М., Киселев-Громов, Н. И., Клиндер, А., Мальсагов, С. А., Никонов-Сморodin, М. З., Олехнович, Ф., Отрадин, Г., Пидгайный, С., Розанов, М., Седерхольм, Б., Ширяев, Б. Н., а также Солженицын, А. И. Дробное обозначение (2/16, 2/35 и т. п.) и следующие за ними уже без дробки цифры указывают номер страницы во второй книге по стр. 73 включ. (т. е. о Соловец. концлаг.). «Указатель» не включает имен из остальных частей второй книги о до-революционной каторге и ссылке в монастырь царями и Синодом.

- Бела-Кун, пред. Крым. ревкома, 58, 2/10, 2/13.
- Беленький, А. Я. чл. кол. ОГПУ, 270, 274, 275.
- Белов, В. угол. - беглец, 292.
- Бергер, Иосиф, оппозиционер из Коминтерна, 115, 148.
- Бергер, Н (псев. Божидар), журнал., 2/22.
- Березов, Р. М., писатель 225, 2/64.
- Берзин, Эдуард, нач. Колымы, 72, 275.
- Бернер, поэт, 32.
- Бессонов, Ю. М., офиц., летописец, 14, 15, 21, 48, 49, 51-53, 56-58, 67, 68, 81, 186, 208, 282, 2/48, 69, 70.
- Бирон, временщик, 152.
- Блок, А., поэт, 81.
- Богданов, член ЦК меньшевиков, 278.
- Богуславский, Г., чл. Географ. об. - ва, 34, 36, 37, 213, 231, 246, 2/18, 35, 41.
- Бокий, Г. И., чл. кол. ОГПУ, 27, 40, 74, 79, 96, 118, 155, 174, 179, 180, 199, 219, 224, 240, 242, 2/18, 2/22, 2/24.
- Бокша, нач. Севлага, 71, 72, 160, 273, 275.
- Борейша, беглец с острова, 291.
- Борецкий, Н. И., лесничий, 171, 183.
- Борин, М. С., артист, 2/17, 19, 21, 26.
- Борисов, нач. ИСО, 195, 213.
- Браз, И. И. худож., 2/27, 51, 53.
- Брот, В., уругваец, 150.
- Бруновский, Ж. Х., секр. СОК, а, 2/35.
- Брусиллов, А. А. царс. и крас. генер., 2/63, 65.
- Брусиллов, его сын (возможно), 2/66.
- Брусилова, Варвара, дочь или сноха генерала, 2/63, 66.
- Букреев, Абдул, беглец с острова, 293.
- Буланкин, лесничий, 170, 2/54.
- Бухальцев, нач. Котлас. перпункта Севлага, 72, 181, 202, 271.
- Бухарин, Н. И., жертва Сталина, 25.
- Вавилов, Н. И., академик, 215.
- Вальденберг, нач. ИСО, 213.
- Вальцева (псевд.), машинистка, 2/13.
- Васьков, пом. нач. Соловков до 1928 г., до 1932 г. - в Севлаге, 72, 79-81, 111, 195, 242, 248, 250, 271-275, 2/52.
- Веймар, А. П., из цар. МИД, 2/49.
- Вейс, нач. Секирки и кремля, 133, 135, 249.
- Вениамин, еписк. Вятский, 240, 256.
- Вениамин, посл. наст. Солов. м-ря, 38.
- Вениамин, митроп. Петроградский, 199.
- Виоларо, юж.-амер. граф, 2/55, 2/56.
- Витковский, Д., летописец Соловков и ББК, 20, 94, 95, 134, 144, 169, 2/45.
- Воинов, коман. 11 роты, 101, 123, 267, 2/47.
- Волконский, декабрист, 151, 158.
- Вонлярлярский, мор. офицер, 2/39, 72.
- Воронов, ком. 12 роты, 2/46, 47.
- Вуль, нач. бандотдела ГПУ, 199, 2/24.
- Высоцкая, «чайница», 110, 285, 2/21.
- Вышинский, пол. кардинал, 28.
- Гавен, чл. Крымс. ревкома, 58.
- Гагарина, княжна, 285, 2/14, 43.
- Галкин, ген. (см. ген. Зайцев).
- Гарри, кор. «Известий», 2/34.
- Гессен, И. В., политик и издатель, 13.
- Гете, нем. писатель, 48.
- Гернет, сов. историк... тюрем, 2/22, 28, 32.
- Гзель, К. Л., подполков. с Секирки, 134, 135.
- Гладков, нач. Кемперпункта и его жена, 53-55, 93, 153, 2/71.
- Глаголев, Мих., священ., 2/60.
- Глаголев, А. А., из СОК, а, 2/35.
- Глазок, Сонька (прозвище), 2/61, 62.
- Голинков, Д. Л., сов. историк, 157.
- Голикова, сов. историк, 293.
- Голицын, Н. Д., князь, 2/48, 49.

- Голицын, сын предыдущего, 2/49.  
 Головин, граф, сектант, 229.  
 Головкин, Петр, чекист, 54, 212.  
 Гольдгойер, смольнянка, артистка, 2/21.  
 Гомулка, польс. коммунист, 28.  
 Горький, Максим, писатель, 19, 34, 62, 91, 105, 110, 111, 168, 188, 199, 203, 207, 208, 210, 214-216, 218, 224, 230, 251, 254, 286, 2/24, 35, 60, 62, 64.  
 Грабовский, С. А., расстрелян в 1929 г., 2/60.  
 Гривениц, барон, расстрелян, 2/49.  
 Григорьев, нач. Соловец. лесзага, 170.  
 Григорьянц, ротный в Котласе, 72.  
 Грозный, Иван, царь, 86, 112, 152.  
 Гумилев, поэт, 2/51.  
 Гусев, (псевдон.), лесоруб, 165-167.  
 Гусенко, нач. лес. команд., 128, 156, 267.  
 Гусин, нач. Зайчиков, 2/10.  
 Давыдов-Вольфсон, чл. Крым. ревкома, 58.  
 Далин, Д. Ю. публицист, меньшевик, 31, 277, 281.  
 Даллер, пол. Генштаба, 80, 2/70.  
 Дарвин, раб. ИСЧ, 213.  
 Дегтярев, ком. охран. полка, 210.  
 Дегтярев, ковбой, 170, 2/50, 53, 55, 60.  
 Демин, А. И., толстовец, 183, 2/55.  
 Дерibas, Т. Д., раб. ОГПУ, 177.  
 Дерковская, эсерка, 282.  
 Дзержинский, Ф. Э., пред. ОГПУ, 16, 21, 40, 75, 177, 206, 288, 2/60, 64, 70.  
 Дмитриев, Антон, сектант, 229.  
 Дорошевич, В. М., журналист, 11, 142, 215.  
 Достоевский, Ф. М., писатель, 190, 193, 218.  
 Драгун, уголовник-беглец, 84.  
 Дрейфус, А., фран. офиц. - еврей, 40.  
 Дронов, ковбой (см. Дегтярев, ковбой).  
 Дубинкин (Никонов-Смородин тоже), 208.  
 Дукис, комендант Лубянки, 42, 181.  
 Думбадзе, инспектор спорта, 2/55, 59, 60.  
 Дутов, казач. атаман, 15, 157.  
 Евреинов, бел. офиц., артист, 2/21, 32.  
 Егоров, Михаил, зав. лагер. театром, 196.  
 Егоров-Лызлов, социалист, 196, 277.  
 Ежов, Н. И., нач. НКВД, 25, 26, 28, 197.  
 Емельянов, поэт, 2/22, 32.  
 Жижиленко, епископ и доктор, 238, 263.  
 Жуков, С. В., почвовед СОК,а, 247, 248.  
 Журавлев Петр, лиценст, 2/50.  
 Зайцев, уголов. - беглец, 84.  
 Залкинд, следов. ИСЧ, 213.  
 Зарин, В. Е. нач. Соловков в 1929-1930 гг. 87, 118, 135, 211-213, 263, 264, 266, 268, 275, 2/73.  
 Захваткин, А. А., науч. раб. СОК,а, 2/26, 35.  
 Зверев Петр, епис. Воронеж., 233.  
 Землячка, Р. С. секр. Бела-Куна, 58.  
 Зернов, Евгений, епископ Благовещенский, 239, 242-244, 254.  
 Зорин, П. А., инж., 84, 85.  
 Зотова, Аня, анархистка, 264, 2/12, 13.  
 Зубков, нач. экспор. лесозаготовок, 76, 77, 106.  
 Иваницкий, эсер, 278, 279.  
 Иванов, А. П., «антирелиг. баццла», 246.  
 Иванов, Н. А., подполков., 59.  
 Идрисов, чл. Крым. ревкома, 58.  
 Иларион, архиепископ (см. Троицкий).  
 Инжир, Л. И., гл. бух. ГУЛАГ,а, 148.  
 Иринарх, монах - гидротехник, 220, 247.  
 Истомиц, нач. КВЧ, 88, 275, 276, 2/33.

- Каганович, М. М., наркомлес, 204.  
 Казанский, П., историк, богослов, 40.  
 Калинин, закл. в Кеми, 50.  
 Калугин, ссыльн. чекист, 43, 58-60.  
 Карпов, быв. режиссер, 2/19.  
 Катаньян, Р. П., член Разгруз. комиссии, прокурор, 199, 280-281, 2/24.  
 Качалин, худож., 2/18.  
 Квитневский, пом. нач. Соловец. отделения, 88, 275.  
 Квицынский, ссыльный чекист, 76.  
 Кеннан, Джордж, амер. журнал. в Сибири, 215.  
 Кирилловский, И. И., нач. Кемперпункта, 54-56, 128, 2/67.  
 Киров, С. М., чл. политбюро, 25, 76, 197, 262.  
 Китчин, Георгий, летописец Севлаги, 54, 56, 71-73, 143-145, 155, 160, 181, 260, 265, 271, 279.  
 Кляцкин, сов. воен. историк, 81.  
 Коатс, Вильям, секр. парлам. к-та, 140, 141.  
 Коган, Д. Я., ссыльный чекист в КВЧ, 245, 2/17, 27, 30, 36.  
 Коган, Лазарь первый нач. ГУ-ЛАГ,а, 72, 118, 155, 207, 272-274.  
 Кожевников, И. С., быв. командарм, 2/55, 57 - 59.  
 Колосов, В. А. из Солов. рыбпрома, 181.  
 Коларова, княжна (см. Чавчавадзе). 2/56.  
 Кондратьев, лицеист, сенат. чиновник, 2/21, 50.  
 Кондырев, проф. из Пушхоза ББК, 225.  
 Константиновская, княжна, 110, 285.  
 Кораблиха (прозвище), 2/21.  
 Коростылев, А. А., чл. ЦКК, 280.  
 Косинский, К. А., соловец врач, 238.  
 Костин, ссыльный чекист, 43.  
 Красовский, быв. режис. МХА-Т,а, 2/19, 21.  
 Кривош-Неманич, В. И., проф., 2/27, 56, 57.  
 Кротова, Алиса (псев.), 2/10.  
 Крутиков, нач. пересылки на Морсплаве в 1933, 1934 гг., 55, 56.  
 Крыжановский, В. В., инж. Кондостр., 194.  
 Крылов, игумен Пимен Казанский, 234.  
 Кзендзовский, быв. директор Музыкал. комедии в Петрограде, 2/25.  
 Курбас Лесь (А. С.) укр. режис., 2/25, 26.  
 Курилко, ротный Кемперпункта в 1928-1930 гг., 20, 45, 46, 55, 60-63, 66, 67, 72, 84, 87, 111, 204, 271, 2/73.  
 Кучьма, нач. Секирки, 130, 131, 133, 2/8.  
 Лавровский, Д. Г., зав. сол. сельхозом, 216, 2/35.  
 Лайон, Ф. Г., переводчик летописцев, 16.  
 Ланге («Флеминг») след. Ленингр. ГПУ, 2/48, 51.  
 Ленин, В. И., 30, 45, 87, 146, 199, 288.  
 Леон Жорж, эстрад. куплетист, 2/21, 22.  
 Лиде, чл. Крым. ревкома, 58.  
 Литвин, Н. К., журн.-сменовеховец 2/22, 30-32.  
 Литвинов, наркоминдел, 142, 143, 146, 2/56.  
 Лобас, Н. С., сахалин. врач-летопис. 11, 190.  
 Лозино-Лозинский, отец Николай, 2/50.  
 Ломоносов-Роланд, анарх. 164, 165, 281.  
 Лопатин (псевд.), лесоруб, 162, 164, 166, 167.  
 Лыков, первый ком. Солов. полка, 74.  
 Магерам (псевд.), десят. из уголовников, 163, 164, 166, 167, 171.  
 Май-Маевский, бел. генерал, 2/58.  
 Макаров, проф., 2/27.  
 Маргулис, нач. Зайчиков, чекист, 2/10.  
 Мария (Тереза), венгерка, 2/13.  
 Машковский, еп. Ювеналий, чл.

- комиссии по вскрытию мощей, 245.
- Медведев, Рой, сов. историк-диссидент, 25, 180, 282.
- Мелетий, настоятель Соловецк. м-ря, архимандрит, 223.
- Меметов, чл. Крым. ревкома, 58.
- Менжинский, В. Р., пред. ОГПУ, 127, 195.
- Мессинг, чл. кол. ОГПУ, 16.
- Миллер, Е. К., бел. ген. 33, 90, 102.
- Миллер-Соколова, мед. сестра на Анзере, 102; 285.
- Милованов, дантист, певец, 2/21, 25.
- Милуков, П. историк, политик, 39.
- Мисуревич, нач. ЭКЧ, 177.
- Михай, Том, цыган, беглец, 292.
- Михайлов, Б. Н., подполков. 267.
- Михалков, сов. писатель, 225.
- Михельсон, ссыл. крым. чекист, 53, 59, 60, 75, 277, 2/67.
- Михневич, лицеист, 2/50.
- Молотов, В. М. пред. СНК, 142, 171-173.
- Монахов, нач. Котлас. перпункта, 72, 271.
- Мордвинов, нач. ИСЧ, 88, 195, 275, 276.
- Мороз, П., автор статьи о Горьком, 214.
- Морошкин, инспектор КЧВ, 2/33.
- Мыслицын, вохровец, 260, 261.
- Навроцкий, бригадир, 67.
- Наживина, жена офицера, 250, 2/15.
- Неверов, нач. ВПЧ в 1924-1926 гг., 248, 2/16, 17, 27, 30, 35.
- Немирович-Данченко, В. И., писатель, 171, 216, 217, 221, 227-229.
- Никодим, иеромонах, 37.
- Никодим, «Утешительный поп», 233, 255.
- Николаевский, Борис, публицист, меньшев. 31, 277, 281.
- Новиков, нач. Кондострова, 194, 195, 259, 260, 267, 2/47.
- Ногтев, нач. Соловков в 1923-1925 гг., науч. УСЛОЖ,а в 1929-1930 гг., 27, 56, 71-75, 79-82, 87, 88, 90, 100, 108, 111, 125, 155, 162, 203-206, 211-213, 234, 242, 248, 249, 252, 253, 279-281, 2/41, 52, 57, 66.
- Оболенский, князь, ротный, 256, 2/46, 47.
- Озеров, И. Х., проф.-финанс., 86.
- Озол, чекист в Севлаге, 275.
- Олейников, Л. А., уголов. 2/15, 16.
- Олицкая, Екатерина, эсерка, летописец, 31, 277, 279-283.
- Основа, ротный и староста, 50, 56-58, 2/8.
- Осоргин, Г. М. бел. офицер, 217.
- Остен-Сакен, барон, 2/50.
- Остроградский, епископ Виктор, 238.
- Отен (псев.), ссыл. чекист, 196, 2/70.
- Палладин, проф., 215.
- Панин («Пан») Ванька, угол., артист, 110, 2/25.
- Папильон, франц. уголов., бежавш. с Кайены, 291.
- Петерс, чл. коллегии ОГПУ, 195.
- Петкин, секр. перпункта в Севлаге, 274.
- Петр, епис. Тамбовский, 233, 236.
- Петр, инок соловецкий, 254.
- Петр, митроп. Крутицкий, 244, 250.
- Петр Первый, имп., 86, 112, 152, 165.
- Петрашко, полковник, 182, 209.
- Петров, соловец. врач, 238.
- Петров, студент, беглец и сексот, 291.
- Петров, ком. Соловецк. полка, 74, 2/22.
- Петрус, летописец Нориллага, 27, 114.
- Петряев, П. А., ред. соловец. газеты, 2/30, 31, 35.
- Пильбаум, раб. Пушхоза, 256, 257.
- Пискуновский, отец Никодим, 238.
- Платонов, ротный 12 роты, 117, 151, 267, 2/46, 47.
- Погребинский, орган. труд. коммун из уголовников, 110, 223.

- Подбор (псевд.), уголов., 166, 167.
- Подвинский, Иосаф, монах, бежавший в 1700 г. из монс., 293.
- Подольяк, Филипп, сектант, 262.
- Полозов, нач. ИСЧ в 1928, 1929 гг., 195, 213, 263.
- Польский, отец Михаил, летописец о духовенстве, 29, 38, 54, 56, 233, 238, 241, 243, 245, 2/61.
- Пономарев, И. И., нач. Соловков в 1933-1935 гг., 87, 88, 212, 293, 2/64, 65.
- Попов Георгий, эмигрант, 39.
- Попов, И. В., проф. Духов. Акад., 234, 239,, 244, 2/29.
- Попов, П. И., вице-губернат., 59.
- Потапов Иван, нач. штраф. «Овсянки», 20, 128, 151, 153, 154, 156, 161, 267, 2/45, 47.
- Потемкин, комендант УСЛОНа в Кемь, 55.
- Приклонский, доцент, 2/26, 27, 36.
- Пришвин, М. М., писатель, 36, 78, 199, 215, 225-232, 253, 258.
- Провоторов, нач. Кондоштрова, 192.
- Протасова Рима (псев.), 2/10.
- Протопопов, Н. Ф., ветврач Пушхоза, 9.
- Путилова, девушка, 2/15.
- Пчелка Семен (прозвище) уголовник, 2/21.
- Радецкий, нач. ИСО ББК, 154.
- Райва, ссыл. чекист, нач. Кондоштрова, 130, 192, 194, 2/7.
- Расщупкин, Н. И., нач. ИСО СЛОНа в 1929-1930 гг. 213, 259, 263.
- Редер, автор кн. о Воркуте, 2/37.
- Редигер, зав. соловец. отделом труда, 2/15.
- Ремов, епископ Варфоломей.
- Ридель Клара (псевд.), 2/10.
- Ризабелли, топограф, 218.
- Рогов, (псевдоним), художник. 128, 129, 133.
- Розанов, С. А., библиотекарь Акад. Наук., 20, 86.
- Роллан Ромен, фр. писатель, 91.
- Ромадановский, князь, нач. Преображенского приказа при Пе-  
тре Первом, 293.
- Рончин, нач. работ в Хибинах, 106.
- Рузвельт, Ф. Д., амер. президент, 143.
- Русаков, поэт, 2/32.
- Рыков, А. И., пред. СНК, 25, 281, 2/63.
- Рябушинская, из дома Рябушинских, 110, 285, 2/63.
- Савич, кремл. староста, 75, 2/67.
- Саенко, харьков. чекист, 79, 279.
- Сажин, нач. Кондоштрова, 192.
- Самоцвет, А., бел. офицер, 113.
- Сандомир Юзик, эсер. 277.
- Сапир Борис, меньшевик, летописец, 31, 71, 73, 113, 175, 176, 277, 279.
- Сахаров, В. А., ком. 14 роты, 267, 2/47.
- Светлов А. старый солов., 26.
- Свида-Свидерский (см. Юпович), 240.
- Селезнев, нач. охраны на Анзере, 292.
- Селецкий, И. Ф., нач. лесозаготовок на Соловках, 20, 111, 128, 151, 158, 200, 201, 267, 2/45, 73.
- Селиванов, ген.-губернатор, 40.
- Семенов, пойманный беглец, 183.
- Сенкевич, нач. Севлага, затем УСЛОНа, 72, 212, 275.
- Силига Антон, троцкист, 114, 2/72, 73.
- Силин, быв. летчик, 290.
- Скиртладзе, капитан, беглец, 290.
- Слепян, контрабандист, 2/30.
- Смирнов, А. Н., пред. Верх. Суда, 199, 280, 281.
- Смоленский, Мариан, ссыльный чекист, 76.
- Соколов, нач. финчасти до 1927 г., 2/14.
- Солодухин, нач. Соловец. отделения в 1931 и 1932 гг., 87, 88, 212, 276.
- Солоневич, И. Л., летописец ББК и Свирылага, 10, 18, 154, 187, 188, 212, 2/17, 34, 45.
- Сольц, А. А., член ЦКК-РКИ, 203, 206-208, 210.
- Сталин, И. В., 23, 25, 145, 179, 180, 199, 207, 215, 268.

- Стерельховский, морс. кап., беглец, 292.
- Стрешнев (псевд.), лесоруб, 162, 164-167.
- Стулитов, нач. Арханг. ГПУ, 33.
- Султангалиев, Мустафа, оппозиционер, 264.
- Сухов, И. Я., военком охран. полка, 74, 230, 2/30, 35.
- Твердислов, студент-реставрат, 32, 33.
- Тверье, секр. редакции, 30.
- Тельнов, И. Г., бел. офицер, ротный, староста в лагере, 54, 57, 75, 128, 192, 417, 2/47, 66-70.
- Тиллет, Бен, член англ. профдеlegation, 140, 141.
- Толстой Алексей, писатель, 188.
- Томашевский — «Собака», уголовник, 2/29.
- Томилина, жена бел. офицера, 80.
- Топоров, из Кемперпункта, 2/16.
- Тоур, помещик, 2/49.
- Трезвинский, епископ Нектарий, 238.
- Трифон, монах, соловец. зодчий, 73, 152.
- Троцкий, Л. Д., соперник Сталина, 87, 2/72.
- Трубецкой, декабрист, 87.
- Туляков, епископ Феофан, 243.
- Туомайнен, Карл, зав. Пушхозом, 217.
- Тучков, уполн. СНК по делам церкви, 236, 240.
- Троицкий, архиепископ Иларион, 29, 183, 236, 239, 242, 244, 250, 256, 2/60.
- Успенский, Д. И., нач. Соловков и ББК, 150, 154, 208, 212, 260, 261, 264, 270, 2/17.
- Федоров, П. Ф., парох. врач, 36, 221, 229, 248.
- Федяков, нач. Кемперпункта, 54, 72.
- Фельдман, член коллегии ОГПУ, 75, 76, 199, 2/24.
- Фельдман, М. В., его жена, нач. ца санчасти Соловков в 1925, 1926, 1927 гг. 2/61, 62.
- Филимонов, А. И., нач. ЭКЧ, 2/15, 35.
- Филиппов, член Разгруз. комиссии, 288, 2/24.
- Филиппов, эмигр. писатель, быв. ээка, 89.
- Фирс, соловец. архимандрит в 1700 г. 293.
- фон Фитцум, барон, лицеист, 2/21.
- Фомин, В. В. чекист, 16.
- Форгач, И., рижск. издатель, 16.
- Форд, автомоб. магнат, 146.
- Фредерикс, В. Б., барон, министр Двора и Уделов, 2/60.
- Фредерикс, Н. М., баронесса, 2/60, 62.
- Френкель, Н. А., нач. ЭКЧ Соловков, затем всего УСЛОНа, 11, 72, 98, 108, 149, 174-185, 202, 203, 207, 233, 258, 271.
- Фруменков, Г. А., сов. историк, 152, 229.
- Фухман-Фушман, невыясненная личность, возможно Френкель, 206.
- Хаммер, Арнольд, первый амер. концессионер в СССР, 146.
- Хомутова-Гамильтон, помещица, работала в театре, 2/21.
- Хрес, петлюровец, орган.-ор. побега, 293.
- Царапкин, следователь ИСЧ, 2/65.
- Чавчавадзе (см. Коларова), 2/56.
- Чайковский, Н. В., политик, 33.
- Чегодаев, князь, лесничий, 171.
- Чекмаза, А. бандит, артист, 17, 110, 2/21.
- Чернавин, В. В., летописец материковых ком.-ровок УСЛО-На в 1931-1932 гг., 22, 23, 25, 46, 67, 89, 100, 101, 143, 144, 149, 181, 187, 2/25, 34.
- Чернаш, инспектор, КВЧ, 230.
- Чернявский, коман. карантин. роты, 84, 85, 111, 123, 267, 268, 2/46, 47.
- Чехов, А. П., писатель, 11, 215, 218, 2/53, 63.
- Чикаленко, укр. издатель, редактор в Варшаве, 27, 113, 117, 135, 138, 2/46.

- Чистяков, ссыл. чекист, староста в Кемперпункте в 1923-1924 гг. 2/16, 71-73.
- Чичагов, митрополит Серафим Петроградский, 242.
- Шадымов, уральский священник, 239.
- Шайрон, нач. ГПУ Северн. края, 272.
- Шаламов, В., летописец Колымы, 72, 282, 2/50.
- Шапиро, дежурный по кремлю чекист, 285.
- Шаховская, княжна, официантка, 55, 285.
- Шаховской, князь, орг.-тор побег, 290.
- Шевальер, американец, 43.
- Шевелев (псевд.), главбух, 2/13.
- Шелковников, артист балета, 2/18.
- Шеллер (Михайлов-парт. кличка), библиотечарь, быв. эмигрант, 2/27.
- Шенберг, секр. редакции, 2/31.
- Шепчинский, Д. М., скаут-мастер, расстрелян, 2/55, 59, 60.
- Шильдер, барон, генерал, 2/49.
- Шильдер, барон, лицеист, племянник генерала, 2/49.
- Шильдер, барон, брат предыдущего, 2/50.
- Шкеле, нач. ИСО Севлага, 275.
- Шлихтер, А. Г., сов. дипломат, 34.
- Шманевский, взводный карант. роты, 268.
- Шоу, Бернард, англ. писатель, 91, 143, 145.
- Штромберг, барон, лицеист, 2/50.
- Шухов, И. Д. олитературенный тип зэка Особлагов 2/36, 37.
- Щапов, иконовед, 2/36.
- Эйхманс, Ф. И., пом. и нач. Соловков и УСЛОНа в 1923-1928 гг., 14, 71, 75, 87, 93, 124, 127, 130, 157, 162, 195, 200, 211, 213, 228, 234, 242, 247-249, 267, 279, 280, 290, 2/15, 16, 18, 27, 35, 38, 66.
- Эссад Бей (псевд. Нуссбаума), писатель, 14, 15, 95, 140, 141.
- Юпович, М. И. (см. Свида-Свидерский), 240.
- Явно, Яков, воспитатель из чекистов, 2/35.
- Ягода, Генрих, пред. ОГПУ, 25, 180, 182.
- Якир, Петр, «расколотый» диссидент, 136.
- Яковлев, Б., автор книги о концлагерях, 28.
- Яковлев, кремл. староста, 75, 2/67.
- Якубович-Мельшин, автор книги о царской каторге, 218.
- Яната, укр. профессор, 2/36.
- Ярославский, А. Б., поэт, 150.
- Яхонтов, нач. санотдела УСЛОНа, 263.
- Ященко, зам. Эйхманса в 1928-1929 гг., 162, 211, 267.

## ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

СТР	АБЗАЦ	СТРОКА	НАПЕЧАТАНО	СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
17	3-й сверху	5-я снизу	балалечный	балалаечный
18	2-й сверху	10-я снизу	тяг	тяг
30	нижний	4-я снизу	вахтмистр	вахмистр
39	2-й сверху	7-я сверху	— запевалу	— запевалы
40	нижний	2-я снизу	вначале	в начале
48	3-й сверху	последняя	го	гося
57	3-й снизу	последняя	проточков	протачков
74	нижний	5-я снизу	впред	впредь
107	первый	8-я сверху	служивой	служилой
138	2-й сверху	последняя	«свечной» доход»	«свечной доход»
154	2-й сверху	4-я сверху	не надо»	не дано»
158	3-й сверху	2-я снизу	тысяча	тысячу
160	2-й сверху	1-я снизу	Фрумжинным	Фруменковым
163	1-й сверху	8-я сверху	диаконов	диакона

